

ЖИЗНЬ СОВЕТСКОЙ

Татьяна
Москвина

ДЕВУШКИ

биороман

ЕШ
Редакция
Евгения
Шуваловой



Татьяна Владимировна Москвина

Жизнь советской девушки

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8346802

Жизнь советской девушки: Издательство АСТ; Москва; 2014

ISBN 978-5-17-086843-8

Аннотация

Новой книге Татьяны Москвиной, наверное, могло бы подойти название романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности». Но Москвина – писатель своевольный и гордый, чуждый постмодернистским играм и сомнительным заимствованиям. «Жизнь советской девушки» – прежде всего ее автопортрет на неброском ленинградском фоне 60–80-х годов прошлого века, выписанный с той беспощадной тщательностью, которая выдает автора как последовательного приверженца русской реалистической школы, тонкого психолога и дотошного исследователя уходящей советской натуры. Из множества смешных и грустных историй, точных наблюдений и честных воспоминаний складывается Книга Жизни, от которой нельзя оторваться...

Сергей Николаевич, главный редактор журнала «СНОБ»

Содержание

Увертюра	5
Глава первая	17
Глава вторая	34
Глава третья	53
Глава четвёртая	75
Глава пятая	84
Глава шестая	97
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Татьяна Москвина

Жизнь советской девушки

© Москвина Т.В.

© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

*...И когда я забуду всё, что я любил, я умру...
Гайто Газданов*

Увертюра

Я пишу для тебя

Я не могла понять, зачем и для кого буду писать эту книгу, пока не увидела её.

Случайно на улице, шла мимо. Девушка лет восемнадцати в мешковатом чёрном пальто, длинные русые волосы, кое-как подстриженная чёлка. Что-то нелепое в фигуре. И в манерах. Что-то категорически не совпадающее с реальностью, порывистое и ужасно трогательное.

Она не видела меня, увлечённая своей книжкой или своими мечтами.

Она смотрела куда-то серо-голубыми северными глазами, а я замерла в узнавании... Я так хорошо знала этот зачарованный рассеянный взгляд, эти обкусанные ногти, эти бедные разбитые туфли.

Я всем нутром ощущала, как она талантлива и как несчастна. И я знала, что ещё долго-долго придётся ей быть талантливой – неизвестно, в чём, – и несчастной, а это уж слишком ясно, отчего.

Это женский мутант.

Это результат жестокого эксперимента по внедрению духа

в природу.

Это женщина, которой досталась искорка творческого разума.

Это я.

Это я несколько десятилетий тому назад – с отчаянным туманом в голове, зачитавшаяся до одури, бредущая по городу...

Видимо, такие всегда были, есть и будут – наверное, существует норма в процентах. Я думаю, процентов пять – семь от общего числа...

Или уже больше?

Или всё-таки меньше?

Я не знаю. Но мне хотелось бы написать книгу, которая помогла бы этой девушке выстоять в жизненной борьбе – выстоять и, быть может, победить.

На этом месте многие читатели могут и надуться. Скажут – а что, если у нас ногти не обкусанные и взгляд не зачарованный, и если мы вообще мужчины средних лет, так что же, нам и книжку эту читать не разрешается?

Что вы, что вы. Сегодня я приглашаю всех! Я же буду рассказывать о своей жизни, а это вызывает аппетит у многих. Я сама с наслаждением читала жизнеописания людей, с которыми не имела ничего общего ни по полу, ни по возрасту, ни по судьбе – но чем дальше от себя, тем даже лучше, своё-то мы и так знаем.

Пусть ко мне на огонёк приходят самые разные люди, по-

жалуйста. Я говорю лишь о внутреннем послании, о письме «неведомой подруге» или ученице, которую никогда, наверное, не встречу в реальности, – это я сама восемнадцати лет, возродившаяся вновь, сейчас, в этом мире.

Мне кажется, ей сейчас горько, трудно, странно. Её мысли и намерения путаются. Она не знает, что ей делать, куда идти, где её путь. Мир жарко и пошло наваливается на душу, бормочет бредовое и сбивает с толку – а настоящих друзей мало. Почти нет. Их может не быть вообще, так бывает...

Я окликаю тебя.

– Эй, ты! Да, да, ты, с толстой книжкой в руке, в стоптанных туфельках, с туманной, гудящей от слов головой!

Тебе кажется, что ты одна – и это так, ты одна, но... ты не одна.

Побудь со мной.

Послушай меня.

Я расскажу, как долго и трудно я шла к самой себе. И ещё неизвестно, пришла ли. Из моей нелепой жизни нельзя вывести никакого урока, но что-то понять из неё – мне кажется – можно.

Я вас не боюсь

Моя первая книжка, сборник эссе «Похвала плохому шоколаду», вышла в 2003 году, из чего, как вы понимаете, следует, что автор удосужился собрать свои сочинения в книгу,

уже «отмотав срок» в сорок пять лет. В следующем, 2004 году появился мой первый роман, «Смерть это все мужчины», и я стала считаться писателем, которым, конечно, была от рождения, чего мир просто не знал.

Но почему так поздно? Что это за литературный дебют такой – в сорок шесть лет?

Я могу предъявить высокому суду всякие черновики, рукописные и машинописные, разных лет – простите, я писала, писала... только никому не показывала и ничего не завершала.

Тут дело, конечно, не в семье (муж, двое детей), которая брала силы, но уж не настолько, чтоб не смочь написать книжку.

(Каждый день по страничке – через год будет книжка!)

И не в трудностях самого процесса (всё ж таки молотить на машинке было очень утомительно). Но вела же я исправную критическую деятельность, сочиняла статьи, иногда довольно большие. Бывало, что я писала от руки, и рука дико уставала. Тем не менее я написала за три дня пьесу «Рождение богов», зелёной шариковой ручкой, в припадке вдохновения. Стало быть, и это не оправдание. Даже без верной Софьи Андреевны (жена Толстого переписывала его сочинения, но у меня не может быть жены, я сама жена!) давно могла бы ты, девушка, написать свою «Войну и мир».

Ну, так в чём же дело?

Дело в ужасе перед людьми, перед их мнением.

Я боялась всеми кишочками души оказаться отвергнутой и осмеянной. Это сейчас внутри выросло что-то вроде дерева и оделось корой, правда, не особо прочной. А до «великого одеревенения» моя душевная природа состояла, как тело матерого бойца, из ран, ожогов, синяков, обморожений и прочих злополучий, в разных стадиях заживления...

В детской жизни было два горестных случая. То есть их было двести двадцать два, но эти запомнились острее всех.

Меня отдали в школу – ещё семи лет не было – зачем сидеть в детском саду смышлённому ребёнку, который свободно читает и пишет. Трудности в общении со сверстниками, некоторую угрюмую отъединённость от мира, чрезмерную ранимость просто не заметили. (Я всегда была скрытной – коренное свойство натуры.)

Так вот, школы я испугалась. Так испугалась, что несколько раз на людях описалась от страха. Дети смеялись – учительница, добрейшая Тамара Львовна, взяла меня под защиту. Ничего очень уж страшного не было, травли там или постоянного издевательства, дети были неплохие, потом я подружилась с некоторыми и защитилась ими от стаи. Но забыть ощущение позора трудно.

Дома ничего не сказала.

Второй случай. Меня в начальных классах оставляли на продлёнку, часов до шести в школе – делать уроки, читать под надзором. И кормили ещё какой-то дрянью. Так ужасна была жареная картошка, отвратительная, горького вкуса

– а я-то выросла на гениальной бабушкиной стряпне, – что я не могла это есть и потихоньку выбрасывала несъедобные дольки под стол. Кухонная работница заметила самоволку и стала возмущённо орать. Крупная злая бабища, а я тогда была маленькая, тихая, с косичками. Она заставила меня лезть под стол и собирать эту горькую невыносимую картошку, и я не посмела сопротивляться. Через шесть лет – смогла, всему школьному режиму смогла дать отпор, о чём расскажу, а тогда сил не набрала ещё. Полезла под стол, ползала там среди школьников ног, собирала картошку, они смеялись, ух как они смеялись! Помню атомную смесь жаркого красного стыда и солёных избыточных слёз.

Я думаю, надолго остался ужас – сделать что-то не то, над чем будут смеяться. Но его больше нет.

Страх перед насмешками и осуждением людским ушёл вместе с другими человеческими свойствами, из которых более всего мне жаль чудесной способности любить на ровном месте. Она, эта способность, очень скрасила мне жизнь.

Я не боюсь людей. Наверное, я их больше не люблю – и оттого совсем не боюсь.

Я кровно приварена к семье, легко отдам жизнь за детей, многие люди меня восхищают, есть те, кто дорог и симпатичен. Но любви больше нет – надорвалась, устала я любить.

(Мне кажется, если быть честными и посмотреть внимательно и строго вглубь жизни – уходит любовь-то, утекает от нас...)

Ну, об этом мы ещё поговорим, а сейчас важно то, что отдельная русская женщина совершенно распустилась и осмелела. И собирается рассказать о своей жизни, дерзко выкрикивая «я вас не боюсь!»

И чего мне бояться? Я научилась жить среди равнодушия, без горячей заботы о себе, без подарков судьбы, в беспокойстве и раздражении постоянном. Когда меня оскорбляют, мне больно, но через два – три дня всё проходит. Женщины часто воспринимают триаду «деньги – слава – любовь» как возможную защиту от холода и боли (любовь тоже боль, но иного рода) – однако я выучилась жить и с холодом и с болью. Я терплю холод, как почтальон в старину, отправленный в дальнее поселение с важным письмом, я терплю боль, как терпит её человек с вылезшим гвоздём в ботинке, который ежеминутно терзает пятку, – и ботинок почему-то нельзя снять.

Тем более что радость хоть не каждый день, как солнце на Севере, но согревает душу.

Пока что – всё терпимо.

Зря я так боялась.

Я что-то знаю?

Я, я, я, я... Забавно придумала Рената Литвинова имечко для своей глухой героини в сочинении «Обладать и принадлежать» – Яя. Внутри нас действительно живёт какая-то

«Я», и любит она про себя сказки сказывать и приговоры приговаривать.

Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках (которые до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы), где писал без придумок, с натуры – людей, годы, жизнь. У него есть пассаж про художника Лебедева, который любил самые обычные свои движения сопровождать торжественным «У меня есть такое свойство...».

«У меня есть такое свойство – я терпеть не могу винегрета...»

Ох ты бабушки, свойство у него.

Думаю, и вы встречали немало таких людей, важно сообщаящих нам совершенные пустяки, как рельефные, полные смысла личные «свойства».

«Я пью только зелёный чай».

«Я плохо сплю в поезде».

«Не люблю печёнку!»

Ну а что, собственно, нам говорят про человека подобные «свойства»? Ничего. Разве что помогают притереться к индивиду, если судьба его к вам привела-приткнула. Если он ваш гость, к примеру, – ладно, заварим ему зелёного чаю. Не дадим печёнки. Мы гуманисты.

Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий.

«Почти не читаю художественной литературы, она меня

утомляет, мне скучно».

«Русский рок? Нет, не перевариваю, увольте».

«Сейчас хожу только в Студию театрального искусства Женовача – это лучшее, что есть в Москве».

Уже ничего, можно какой-то разговор затеять. Пospорить хотя бы, правда, те воображаемые фразы, что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить с ним будет трудно.

Но я веду к чему? К тому, что самоопределение через набор свойств – чаще всего маленький Яя-театр. Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя. А потом его ещё и проанализировать! Не только перевоплотиться в образ себя, но и рассказать о нём. Выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа!

Поразительно, но многие с этим справляются отлично. (Никто не сообщает только одного – каков его обычный процент лжи в рассказе о себе, никто и никогда.) Так что, общаясь с человеком, имеешь дело с двумя существами: с ним и с его художественным образом.

Крайний вариант такого раздвоения изумительно сыграл актёр Сергей Русскин в роли Иудушки Головлёва («Господа Г.» по роману Щедрина «Господа Головлёвы», театр «Русская антреприза имени А. Миронова», Петербург). Иудушка – бездушный выродок, он родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными, хищными первобытными

инстинктами, что-то ужасное есть в этой полной бабьей фигуре с адскими ледяными глазами, что-то от нелюдя, тролля, болотной нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу! Он обирает ближних с неумолимостью насекомого, и при этом слово «бог» не сходит с его уст, принимаются смиренные позы, он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным!

Ага, скажете вы, но придумка себя идёт изнутри – есть же «объективные показатели».

Хорошо. Я смотрю на себя в зеркало – вижу немолодую женщину среднего роста, очень крупную, полную, с огромной грудью и животом. При этом у меня тонкие запястья, щиколотки и шея. Осветлённые волосы обстрижены и не доходят до плеч, глаза зелёные, но многие утверждают, что голубые – странный, не разгаданный мной эффект. Слева в углу губ большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только за русскую. Лишь однажды – за польку! Помню, как ленфильмовский гример Коля, когда я пришла на грим для картины «Мания Жизели», посмотрел в зеркало и сказал: «А что её гримировать? Хорошее русское лицо». Подумал и добавил: «Типа Крупской».

Хорошее русское лицо типа Крупской. Хорошее, нормальное русское чудище женского рода.

Но там, внутри себя, я же ничего этого не чувствую! Ни

веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родинки – ничего...

Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю и называю её Мать – Тьма, великая *Тьмать*, и моё тело нужно только для поддержки её временных границ.

Она заперта во мне. Она где-то есть в полной мере не во мне, как где-то есть океан, но она есть и во мне – она меня создала, и я не могу не отзываться, когда она зовёт.

Тьмать доходит до головы, но там она всевластия уже не имеет. Туда она протекает во время сна полностью, а с пробуждением медленно и неохотно утекает, оставляя густые, тёмные, долго высыхающие следы. Там, в голове, неравномерный свет – то блистающий и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так разрастается, что чудится, будто заливает он всю Тьмать, затаившуюся внизу, в родовых глубинах. Но уж оттуда её не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда!

А среди борений света и тьмы, кто там поёт и чирикает?

Да так. Какая-то птичка. Вот залетела и поет. И я её спрашиваю утром: ну что, как дела? Будем жить? И она отвечает: да-да! Будем жить-жить!

Птица моя капризница – то запечалится вдруг, то развесялится. Но вообще-то она питается радостью и дарит мне ощущением полёта, хотя где она там летает – уму непостижимо...

Но кто же здесь я?

А вот всё это хозяйство вместе и есть я. Всё это хозяйство,

да притом в динамическом развитии от нуля до наших дней.

Об этом и расскажет вам мой «биороман».

Буду писать спокойно и просто.

Занавес, занавес, поднимайте занавес – я готова.

Глава первая

Недоношенная

Начало моей жизни было самое ужасное.

Беременность двадцатидвухлетней мамы Киры протекала непросто – она часто падала, причём на живот. Вообще, жизнерадостная выпускница Ленинградского военно-механического института, блиставшая в знаменитой самодеятельной драме Военмеха, только что вышедшая замуж за такого же простофилю, о семейном быте, рождении и воспитании детей подозревала смутно. Вечером, перед ночью моего рождения, мама играла с приятелями в преферанс – надеюсь, хоть это-то прошло у неё удачно.

Мама играла неплохо, знала варианты – «сочинку», «ленинградку». Итак, моё рождение было запланировано на обстоятельный, солидный и праздничный январь – а случилось в невротическом, революционном, «достоевском» ноябре.

Я родилась второго ноября 1958 года в Ленинграде, около часа ночи, даже не семимесячной, а шести месяцев двух недель, в клинике Отто, что на Васильевском острове, и весила один килограмм семьсот граммов. Сразу же после родов меня отправили в «барокамеру» – специальный инкубатор для недоношенных. Этим благородным делом заправляла легендарная женщина, которая, как говорили, «выращи-

вала с девятисот граммов», – и приводили в пример артиста БДТ Михаила Данилова, как именно такого вот, выращенного из ничего.

Действительно, Данилов был убедительным аргументом в пользу цивилизации супротив Тарпейской скалы. Он был круглолицый, умный, вроде бы крепенький, талантливый, острый – но при этом глубоко печальный внутри и словно бы снедаемый тайными болями и недоумениями.

Проходит ли бесследно для крошечных существ эта самая «барокамера»? – размышляла я впоследствии. Там, конечно, тепло и кормят регулярно, однако нет никакого спасительного материнского живота – одиночество, тишина! И в этом одиночестве, затаившись, существо напрягает все жилочки организма, чтоб выжить.

Я часто вспоминала свой инкубатор потом, когда приходилось скрываться, таиться и вылеживать себя после катастроф. В мир не попасть, мир безнадёжно далёк, источники любви не иссякли, но тоже безнадёжно далеко. Вот и лежишь, почти не шевелясь, лишь изредка читая давно знакомую книжку – самого питательного свойства, вроде Чехова или Шварца, – и слушаешь глубины себя: набирает ли там силу светлый сок жизни, или пусто, тихо, темно...

В моём рождении что-то изначально пошло «не так». Какая-то нота неудачи, несчастья, недо... зазвучала над колыбелью. Всё было задумано славно, красиво, на широкую ногу, громкозвучно, победно – и как будто сразу же споткну-

лось об мир. Да, трубач удержал падающую трубу, дирижёр поймал, накреняясь всем корпусом, руководящую палочку, скрипка взвизгнула, но вывернулась из кикса, и хор, путаясь в партитуре, грянул песню под постепенно обретающий себя оркестр. Однако вместо победного марша явно вышло что-то другое.

В барокамере я пролежала почти месяц. Выглядела неважно. Папа, увидев меня, огорчился и сказал – ой, какая лягушечка, чем злостно обидел маму. Папа же обижать маму совсем не хотел, а искренне испугался за порожденную плоть.

Родилась в больнице дочка,
Чистый вес – кило семьсот...
Попадёт ли в коммунизм
Этот хрупкий организм?

Это всё, что я запомнила из папиного стиха, а он любил сочинять «на случай», но главная шутка осталась в семейных преданиях навечно.

В коммунизм этот хрупкий организм не попал, как выяснилось.

Организм был этапирован в дом № 70 по Семнадцатой линии Васильевского острова, где, в квартире № 29, в единственной, но большой комнате (27 метров), вместе с маминной мамой, бабушкой Антониной, проживала молодая семья выпускников Военмеха – Киралина Идельевна Москвина и

Владимир Евгеньевич Москвин.

И тут вступила мощным соло бабушка Антонина.

Почётный чекист.

Кавалер ордена Красной Звезды.

Чей сын Юрий Кузнецов отбывал срок в лагере (за воровство) – эхо войны, пожирившей сотнями тысяч нестойкие мальчиговые души. Злосчастный дядя Юра – я увидела его только в семидесятых, носатого и грустного туберкулёзника такой застенчивости, что и вообразить было невозможно, будто это тертый лагерный калач, опытный зэк.

Бабушка бросилась на моё спасение с такой свирепой мощью, что подступившие к моему тощему тельцу, сладострастно ослабившиеся демоны, которым поручили затушить искру, потенциально опасную для тьмы, бежали в испуге. Я вообще не представляю себе сущности, поюсторонней или потусторонней, которая не шуганулась бы от моей Антонины Михайловны. Это в полном смысле слова была та самая «чёртова бабушка», с которой поопасился бы связываться сам Вельзевул.

Вспоминаю такой эпизод, случившийся уже в конце 70-х годов, когда мы с бабушкой снова жили вместе, в хрущёвке на Будапештской улице (дом 49, корпус 1, квартира 3). Бабушка отправилась в близлежащий «Гастроном» за яйцами, но из двух купленных десятков больше половины оказались тухлыми (почему все советские магазины, торгующие тухлятиной, именовались «гастрономами», – неразрешимая

загадка истории).

Антонина Михайловна выбила гнусные яйца в белую эмалированную миску. Надела значок почётного чекиста (щит и на нём меч). Взяла в руки миску и направилась в магазин – к директору.

Представляю себе это шествие! Медленно и сурово, как героиня греческой трагедии, бабушка шла, сверкая значком, распространяя страшную вонь от битых яиц. К директору она прошла беспрепятственно – думаю, люди расступались перед ней, как волны перед миноносцем.

– Что это? Кто это? Что вам нужно? Кто позволил? – завопила отрицательная героиня советских милицейских картин – пергидрольная блондинка с каиновой печатью на оплывшем лице, директор магазина.

Бабушка села, потёрла значок почётного чекиста и поставила миску прямо ей под нос.

– Я – капитан госбезопасности в отставке Антонина Зукина, – молвила она. – А эти яйца я купила сегодня в вашем магазине.

Со временем мы стали постоянно выпускать бабушку в магазин за продуктами. Она имела успех, её узнавали и трепетали.

О, бабушка! Моё перо, как любил восклицать Гоголь, слабо для твоего описания! Дайте мне другое перо!

Бабушка происходила из толщи народной. Это не пустые слова. Я эту толщу чувствую в своей крови как главную оппо-

ру. В этой толще шевелятся и подают мне приветственные знаки братья Кузнецовы – держатели портновской лавочки, забившие до смерти одного из братьев, Михаила, отца бабушки, там хлопочут Татьяна Ивановна, мать бабушки, и её сестра Серафима, там Вышний Волочёк, фабрика господина Рябушинского, Гражданская война, Ленинград, чемодан бубликов, с которым Антонина приехала в город Петра и Ленина, ткацкая фабрика, развесёлые дедушки и дядюшки с баянами, горькие пьяницы, игроки, один повесился, Шурка, там фигурируют Институт красной профессуры и комсомольская путёвка, по которой девчонка с фабрики отправилась служить в НКВД, там смутные дикие рассказы о плодах братоубийственной войны – которая была ещё и неслыханным изнасилованием русских женщин – плоды эти зарывали ночью в огородах, да что и говорить – там стоит адский стон оставленной Богом земли. И гудит страшная сила выживания этой земли. Я из тех, кто выжил и понимает, какова оказалась на Руси цена этого элементарного выживания.

Вот просто – плоть сберечь. Хоть какую-то. Такая у народа была задача в незабвенном Ха-Ха-веке...

И у меня с родными поначалу именно такая задача и оказалась – прямо в рифму.

– Принесли! – патетически восклицала бабушка, рассказывая мне о первых днях моей жизни. – Выродила моя Кирка! Кожа да кости, последняя стадия дистрофии! И я топлю, топлю печку, у меня жарница, дышать нечем. И ты не спишь

ни днём, ни ночью, а Кирка сдаивается, а я тебя кормлю через рожок. У Кирки молока было море. Мы сдавали, она потом на эти деньги колечко купила на память. Топлю и кормлю, топлю и кормлю! Через три месяца привезли врачам – как куколку, щёчки, попки!

Бабушка была запредельно энергичный человек. Запредельно. Мы с мамой уже чистые вырожденцы по этой части. Она была гением домашнего хозяйства – в её исполнении то был апофеоз чистоты, экономности и высокой кулинарии.

Её отправили на пенсию, как многих служащих этой системы, сразу после смерти И.В. Сталина, и пенсия была небольшой – 55 рублей. Потом, уже в семидесятых, прибавили рублей двадцать – что бабушка восприняла с благодарностью, как восстановление поправной Хрущом справедливости. Распоряжалась Антонина Михайловна своим пенсионном виртуозно. Ни у кого не занимала. Берегла хорошие вещи, а хлам выкидывала каждый месяц и каждый год (так что, когда пришлось её хоронить в 1981 году, не нашлось ничего лишнего и ненужного, она выбросила почти всё)...

Принцип был прост: вещь не понадобилась год – вещь не понадобится никогда.

Несмотря на какой-то мифический «Институт Красной профессуры», который она якобы закончила, бабушка писала с ужасающими орфографическими ошибками и без знаков препинания вообще. Писала же она гневные записки, обращённые к маме, причём исключительно в подпитии. Что-

то вроде «Кира ты знаешь как я болею и сказала тебе мать твоя всю жизнь помни бабушку татяну ты ни приехала никогда ни скажешь» – иногда было вообще не понять, чем бабуля недовольна, потому что она была недовольна неким глубинным генеральным недовольством, в котором мы, на нашу беду, всё-таки оказывались на авансцене.

Античное красноречие бабушки в соединении с малограмотностью давало исключительно сильные риторические плоды. Помню, в конце семидесятых годов, во время совместного житья на Будапештской улице, бабушка рисовала такую картину тяжкого совместного существования:

– Я лишена телефоном! – восклицала Антонина Михайловна. – Я лишена холодильником! Я лишена телевизором! Я всем лишена в этом доме!

Заметьте: трёхсложный период и кода. Просто Цицерон!

Моего отчима, Валерия Шапиро, бабушка припечатывала почище вялых перьев газеты «Правда»: «Ты не советский еврей, – утверждала она. – Ты – фашистский израилец!»

На Семнадцатой линии в её книжном шкафу темно-вишнёвого цвета было немного книг – избранные сочинения Сталина, «Анна Каренина» в двух томах, тридцатых годов издания, где сцена падения Анны была отчёркнута экстаической красной линией карандаша, и загадочный роман «Андрей Березин» неизвестного автора.

Я давно мечтаю найти «Андрея Березина» и не могу! Судя по всему, то была книга века, но только для одного читателя

– для моей Антонины Михайловны.

Я уже не застала книгу на полке, потому как «Андрея Березина» у бабушки зачитали, но она помнила его почти наизусть. Она часто пересказывала мне перипетии романа, как всегда красочно привирая (бабушка была выдумщица та ещё!). Речь в романе шла, естественно, про этого самого Андрея Березина, русского советского человека, прожившего исключительно нелёгкую жизнь.

Он честно работал, а на него обрушивалась всякая клевета и несправедливость, он терял любимую жену (та долго умирала), но в конце концов...

Найдя в моём лице идеального слушателя, бабушка вдохновенно рассказывала, как Андрей Березин поссорился с нехорошим директором, как он помог фронтовому другу, как он познакомился с девушкой и прочее. Отметаю мысль, что никакого Андрея Березина в словесности не было, что это был фантом, созданный бабушкиной тоской о Герое. Андрей Березин был, и я его обязательно найду! Найду!!

Ну что ж, дистрофия была преодолена, однако же я не ходила – ни в год, ни позже, слабые были ножки. Уже начинала говорить-лепетать (бабука, ичко – то есть бабушка, дай яичко, любила обыкновенные варёные всмятку яйца, впрочем, ничего необыкновенного в рационе простого советского человека 1958 года рождения и не могло быть, так что любила что было), но не ходила. Пошла я только летом 1960 года, когда меня вывезли на дачу, снятую в Каннельярви (ж/

д станция по дороге к Выборгу). Там было снято полдомика – комната шесть метров и кухня метра три, там бабушка, по советам врачей, зарывала мне ножки в тёплый песок, и там я всё-таки пошла, в год восемь месяцев, и не пошла, а побежала, ни с того ни с сего.

(Прозреваю здесь какой-то алгоритм своей будущей судьбы – я ведь и как литератор долгонько сидела без движения, а потом вдруг не пошла, а побежала!)

Тут, я думаю, родители как-то спокойней вздохнули, потому что у них на руках оказывался теперь совершенно обычный ребёнок, без явных дефектов, который говорил, бегал, нормально развивался. Только почему-то был очень задумчивый и грустный.

Когда я смотрю на фото тех лет, мне этого ребёнка ужасно жалко – лицо сосредоточенное, печальное, как будто я хочу «мысль разрешить». Конечно, эта угрюмая девочка ещё не я, это «возможность меня», которая могла и не осуществиться, заглухнуть, захиреть. Вообще какая-то постоянная опасность долгое время, по моим ощущениям, нависала надо мной.

На Семнадцатой линии, в огромной коммунальной кухне (окно во двор, во дворе кривоватая липа), в руках бабушки развалилась кастрюлька с кипящим молоком, и бурлящая жижа вылилась мне на голову. Волдырь потом резали у доктора, и я радостно повторяла, что «доктор – чик!». Хорошо, волосы отросли впоследствии правильные – русые, густые,

из них мне делали разные бывшие в то время девчоночьи причёски: барашки (прямой пробор, две косички заплетались и скручивались возле ушей), венчик (те же две косички но уложенные навесом сзади, на затылке). Чаще всего, конечно, плелась коса русая обыкновенная, из трёх прядей.

К двенадцати годам толстая коса доходила почти до пояса (во всяком случае, была значительно ниже лопаток)... А в тринадцать я её – чик!

Что это было за время, в которое я попала? Вообще интересно, как ребёнок, не читающий газет, замкнутый в мире семьи, ощущает историческое время?

Ясное дело, конец пятидесятых я помнить не могу. Время моего детства – это шестидесятые годы.

Мама родилась в 1936 году, папа в 1934-м, к моменту моего рождения они были катастрофически молоды (22 и 24 года!!!) – и спустя несколько десятилетий они признались мне, что были друг у друга первыми. Ничего себе заряд энергии пошёл на моё зачатие, – думаю я с удовольствием, пытаюсь представить себе невинность и чистоту моих родителей. Они оба были студентами Военно-механического института, будущие инженеры – популярная в шестидесятые профессия, – и страшно увлекались театром. Военмех славился несколькими театральными коллективами – и эстрадным, и драматическим, – так что мама блистала в Дrame как актриса, а папа – и как актёр, и как режиссёр.

Коллеги по Дrame Военмеха на всю жизнь остались их

друзьями и не только друзьями – когда начался сезон разводов и вторых браков, браки заключались в неумолимом ареале Драмы, это был их прайд, их куст, их домен (исключения были, но сглаживались третьими браками, которые возвращали беглеца или беглянку обратно, в ту же колоду тасуемых карт). Когда мне говорили – такой-то друг по Военмеху опять женился, то прибавляли – «она играла Еву в „Господине Пунтиле“, помнишь? В очередь с Н.Н.» или – «он играл Дурдурана в „Подщипе“». („Господин Пунтила и его слуга Матти“ – пьеса Брехта, „Трумф, или Подщипа“ – сочинение Ивана Андреевича Крылова. В Дrame был довольно оригинальный репертуар.)

Родители мои являлись просто-таки образцом „прогрессивной молодёжи шестидесятых“, детьми XX съезда – они мчались в вихре времени, всё смотрели, всё читали, обо всём спорили, покупали книги, бегали на гастроли Таганки... но мне что было с того?

Меня-то оставляли с бабушкой (а бабушка, капитан госбезопасности в отставке, была убеждённой сталинисткой и верила в какого-то особенного „партийного бога“). Когда мы от бабушки ушли (жизнь с ней была иной раз невыносима) и стали жить по съёмным комнатам, то нередко оставляли и одну. Я нисколько не сержусь на родителей – они были так отчаянно молоды, так увлечены свежим, юным, новоиспечённым миром! – но сидеть одной в какой-нибудь затхлой комнатёнке, где шуршало непонятно что (мыши и крысы –

понятно, что могло шуршать в старых ленинградских коммуналках), бывало жутко. Я боялась, что родители не вернутся, и в детском садике тоже боялась, что забудут, не заберут. Хотя всего один раз так получилось – родители друга не поняли, кто сегодня Танюшу забирает из садика, и я осталась одна – всех детей взяли, а меня нет, но часа через два папа прибежал, всё уладилось.

Всё уладилось, а страх жил. Я не жаловалась (вот она, проклятая скрытность), никак себя не выдавала, с четырех лет предпочитая чтение всем видам жизни, и чрезвычайная впечатлительность оставалась моим одиноким уделом.

Под чрезвычайностью я подразумеваю особую глубину и длительность ощущений, которые не сменяются напрочь другими ощущениями, а „весомо, грубо, зримо“ остаются в душе. Я могу вспомнить сегодня, сейчас любое чувство, испытанное когда угодно, – и горько заплакать, если дам себе волю к погружению. Правда, могу и заулыбаться счастливо... Это так называемая аффективная память, память испытанных чувств, обязательная для актёров. Для жизни это обременение значительное, хотя в таком переживании жизни есть своя прелесть. Есть люди, понимающие, о чём я говорю, – им-то и стоит читать мои книги...

Две приметы того времени могу назвать точно: во-первых, в семье не было темы денег вообще, ни в каком виде. Родители не думали о деньгах, не говорили о них, не стремились к ним. Разумеется, мы были бедны (семья молодых инжене-

ров!), однако в этой узаконенной и разделённой всей страной бедности не таилось ничего унижительного, обидного и страшного. Мы не голодали, мы скромно, но прилично одевались, покупали книги, ходили в кино и театры, снимали на лето крошечные полдомика, а когда мне исполнилось семь лет, „построили кооператив“ – двухкомнатную квартиру на проспекте Космонавтов. (С этим помогла Елена Сергеевна, мама папы, добродушная и практичная бабушка Лена, жившая в городе Рустави (это под Тбилиси) с дедушкой Костей (отчим папы), но о том ещё поведётся своя речь).

Были интересные странности: так, отчего-то совсем дёшево в те времена стала чёрная икра, и я помню, как мне утром на завтрак мама намазывала бутерброд – не то чтобы густо, но и не доводя слой намазанной икры до состояния отдельных жалких икринок, одиноко торчащих среди серой слизи, растянутой по жёлто-масляному покрытию бутерброда.

Рубль в неделю стоили школьные завтраки, а в детском саду всё было бесплатно. Со второго класса года три я занималась в Доме культуры имени Карла Маркса (на Обводном канале; в просторечии ДК именовался „Карламарла“) в кружке игры на гусях и ложках – нас даже по телевизору показывали, – тоже не платя ни копейки...

Вообще, рубль шестидесятых – это, конечно, был весомый рубль. Ведь о любом повышении цен сообщала газета „Правда“, потому что для этого требовалось решение партии. Представьте себе вы, несчастные, которые не знают ве-

чером, что будет написано на ценниках утром, мироощущение людей, проживших с денежной реформы 61-го года до перестройки с одними и теми же ценами почти НА ВСЁ... Конечно, тема денег и не возникала как основная в молодых семьях технической интеллигенции – она беспокоила разве что их родителей.

Папа и мама ходили на работу, играли в Дrame, общались целыми вечерами-ночами с друзьями – а я оставалась с бабушкой, которая как раз была крутая материалистка и разъяренно шипела на совершенных, по её мнению, дураков родителей.

Вторая примета времени – это плановая стихия книгопечатания, накрывшая нашу семью с головой. Мы получали море журналов (даже я, ребёнок, лично получала два – „Искорку“ и „Мурзилку“), подписывались на собрания сочинений, папа бывал у букинистов и стал завсегдатаем отдела поэзии в Доме книги. В домах у друзей – когда меня, скажем, родители прихватывали на „жарковку“ (весёлую пьянку к друзьям Жарковым) на улицу Ленина, я присаживалась у стеллажа с книгами и прекрасно проводила там время. А кстати, родители пили совсем немного, какое-нибудь сухое вино, и никогда не бегали „докупать“. Что есть, то выпьют, а всё больше песни поют. Ведь папа становился тогда известным ленинградским бардом, и выросал он из среды, где гитара была и звенела в каждом доме.

„Все они красавцы, все они таланты, все они поэты...“

Но ведь было! Помню родительских друзей молодыми, ясноглазыми, без печати уныния и пьянства на челе. Удивительно обаятельные были люди, поголовно пышущие живейшим интересом к жизни и творчеству. Многие из них могли стать профессиональными актёрами, режиссёрами, писателями – но воли не хватило. Да и мест всегда меньше, чем талантов в России...

Что касается идеологии, то она накрывала страну мощным колпаком и не ощущалась отдельно от жизни. В лесу растут ёлки и сосны, а на домах – кумачовые лозунги. Отдельные ошибки и перегибы в строительстве коммунизма никакого отношения не имеют к дедушке Ленину, и образ этого дедушки, конечно, жил в моей душе в качестве эрзац-бога довольно долго – лет до двенадцати. Тут всё у них сработало – они же этого и добивались. Какой твёрдый был упор, к примеру, на то, как дедушка Ленин любил детей – а разве душа наша не отзывается на любовь?

„Всякая власть от Бога...“ Нет, никогда не поверю, не соглашусь и не смирюсь. По-моему, так всякая власть не от Бога – а от Бога только власть Бога. Христос сказал, что кесарю – кесарево, а про то, что всякая власть от Бога, он, если не ошибаюсь, ничего не говорил. Может, всякая власть – либо Ирод, либо Пилат, либо первосвященники, либо подлая чернь, и если она не распинает Христа, то уж никак тому и не препятствует?

Как оказалось много лет спустя, меня крестили сразу по-

сле рождения, в церкви на Смоленском кладбище, и крестным отцом моим был некто дядя Юра Петров, толстый весёлый человек. Однако сочли благоразумным об этом крещении мне не говорить. Бабушка тоже хороша – ведь всё прекрасно знала, коммунистка правоверная, но ни против крещения не возражала, ни мне словом не обмолвилась. Кстати, на Пасху каждый год она виртуозно красила яйца, заматывая их какими-то линючими лоскутками, и яйца выходили заматательно пестрыми, прямо „филоновскими“.

„Партийный бог“, рельеф Сталина под стеклом на стене, „Андрей Березин“ – и яички на Пасху! Нормативное русское поведение в Ха-Ха-веке. Бабушка-то, 1908 года рождения, разумеется, была крещёная и жила в своём Вышнем Волочке до 1917 года (мать – работница на фабрике господина Рябушинского), как подобает православному младенцу. От крашенных яичек отказаться она никак не могла.

А я сейчас всё пытаюсь вспомнить рецепт окраски, пробую в точности воспроизвести – не получается пока. Наверное, таких линючих тряпочек, как в моём детстве, на свете больше нет.

Да и того мира, где мне было три года и Гагарин полетел в космос, нет. Да уж давайте начистоту – и космоса никакого нет...

Глава вторая

Папа, мама и город Ленинград

Итак, откуда я взялась? Окинем взглядом стартовый, так сказать, капитал крови и почвы.

И сразу откинем торжественные зачины вроде "Она происходит из старинного рода...", ибо, как миллионы моих сограждан, я ни из какого рода не происхожу.

Девичья фамилия бабушки Антонины – Кузнецова. Никаких таких бояр и дворян на свете нет. Фамилия папы – Москвин (по отцу-марийцу, погибшему на фронте). Так называли обычно безродных крестьян, по месту, откуда они пришли-прибыли. Могли они, кстати, и приврануть – дескать, откель? С Москвы, господин хороший, с Москвы-матушки. А сами беглые из Орловщины какой-нибудь.

Никакого ободряюще-давящего груза семейных традиций или заветных преданий.

Я – чистый, можно сказать, продукт советской истории и нескольких национальных генофондов. Как я люблю приготавливать, "дочь трудового народа".

Однако у многих моих родственников всё ж таки есть ободряющая общая черта: они проделали путь, *совершили усилие*. А без усилия не получилось бы выжить, потому что отсутствовала инерция.

Скажем, прабабушка Татьяна неплохо зарабатывала на фабрике господина Рябушинского (как мне потом была понятна реплика обывателя из развесёлого и жуткого "Клопа" Маяковского – "За что мы прогнали господина Рябушинского?") и рассчитывала, что и дочь её пристроится там же. Но грянула революция, как говорится, потом Гражданская война, фабрика исчезла, и Тоня Кузнецова (не скоро ставшая бабушкой Антониной Михайловной) в 1927 году прибыла в Ленинград устраиваться на работу. Конечно, она поступила опять-таки на ткацкую фабрику, где стала знатной ткачихой-передовичкой, но уже не по инерции, а через усилие.

Потом её по комсомольской путёвке забирают в "органы", и там она дослуживается до чина капитана, окончательно выбившись из своей среды.

В это время из города Новоград-Волынский в Ленинград приезжает учиться на врача маленький симпатичный еврей по имени Идель Мовшиевич Зукин. В один прекрасный день он отправляется подзаработать на свадьбу, поскольку имеет все положенные добродетели галутных евреев, в том числе умение играть на скрипке. На свадьбе он встречает Тоню Кузнецову, уже вдову с мальчиком на руках (первый муж бабушки мелькнул призраком, его где-то убили, он даже не видел сына) – и, как говорят французы, свершается *coupe de foudre*, молниеносная любовь. Результат этой встречи – моя мама Киралина, получившая своё оригинальное имя благодаря фантазии Иделя Мовшиевича (смесь Киры и Кароли-

ны).

Как сказала потом моя мама, "конечно, была новая общность людей – советский народ, а как иначе новоград-волынский еврей мог жениться на вышеволоцкой ткачихе?".

Замечу, что Идель Мовшиевич женился уже не на ткачихе, но на работнике "органов", что, конечно, усугубляло пикантность ситуации.

Кстати, я постоянно расспрашивала бабушку, чем же она занималась на работе, но она держалась, как партизан на допросе (из советских книжек партизан, разумеется, не из реала), и добыть удалось буквально крохи.

Мама, дочь XX съезда, бывало, кричала на бабушку, что "у тебя, чекистка, вообще все руки в крови", отчего та лезла на стену и со стены орала, что мы враги народа, а партийный бог правду видит, но в действительности Антонина Михайловна в репрессиях участия не принимала, никого не расстреливала и не допрашивала. Женщин к таким серьёзным делам не допускали. До войны бабушку в основном использовали как подсадную утку, то есть красиво одевали за казённый счёт и подсаживали с определённым заданием к клиентам в ресторанах. Она как-то там раскалывала клиентов (насколько понимаю, речь велась не о политике, а о валютчиках и прочем в этом роде), но одновременно приходилось выпивать, так что бабушку постоянно привозили на квартиру в весёлом виде и на такси.

НКВД не скупилось – ей полагалось обязательное новое

платье раз в месяц! Соседи, видя, что молодуха, в будоражащих воображение нарядах и шляпах, каждый вечер прибывает домой в состоянии ай-люли, написали донос в те самые органы, которые столь щедро финансировали интересную бабушкину жизнь.

Органы повели себя достойно, то есть вежливо приказали жилищному управлению всякие движения пытливых масс в адрес Антонины Зукиной пресечь навечно.

Ещё помню бабушкин рассказ о том, как она охраняла академика И. П. Павлова – проще говоря, следила за академиком, что труда не представляло: в тридцатых годах башковитый старикан ходил в основном по одному маршруту, из дома в начале Седьмой линии до Знаменской церкви. Я живу теперь напротив Музея-квартиры академика Павлова, на Шестой линии, так что ясно представляю себе круг рабочих забот бабушки Антонины...

В войну бабушка, с маузером на боку, ловила в блокадном Ленинграде шпионов, пускавших с чердаков сигнальные ракеты, а потом сопровождала учебный отряд радисток под Новгородом.

Девочка же с диковинным именем Киралина, моя мама, оказалась, выжив в блокаде и оккупации, толковой и смыслёной, окончила школу с золотой медалью, поступила в институт, играла в Дrame, защитила диссертацию – движение от почвы и среды продолжалось.

Своё накопление усилий шло и по отцовской линии. Кра-

савица полька Елена Прозых с бродячим оркестром едет из Варшавы в столицу империи, чтобы подзаработать. Встречает загадочного персонажа, о котором бабушка Елена Сергеевна (мама отца) если и говорила, то трагическим шёпотом. Он был чуть ли не товарищем министра юстиции Временного правительства. Прижитую от обворожительной польки дочь и её саму семья товарища министра берёт к себе в дом! Такой широты сердце было у жены товарища министра. Образовавшийся, как сказал бы уральский писатель Иванов, "фамильон" оседает на Байкале, на станции Слюдянка – тут пути расходятся, семья товарища министра, надо думать, через Дальний Восток убывает в Харбин, а полька Елена с дитём остаётся в Советах. Затем их прибывает на Алтай, где бабушка Елена Сергеевна встречает марийца Женю Москвина, сына умной фельдшерицы Федосьи Москвиной.

Эта Федосья, судя по рассказам, была видным самостоятельным кинокритиком (ловлю прообраз!). Вот, говорила бабушка Лена, пойдём в кино, Федосья потом нас расспросит – ну, что вы видели? Мы пытаемся рассказать. Ничего вы не видели... – сердится Федосья и толкует содержание картины сама, да в сто раз интересней, чем на экране!

Так дело доходит до рождения моего отца, Владимира Евгеньевича, который в своё время прибудет в Ленинград на учение.

Простодушный с виду (обманчиво!) и чрез меру одарённый юноша вскоре станет образованнейшим человеком, зна-

током поэзии, автором-исполнителем, режиссёром и даже самодеятельным литературоведом (во всяком случае, многие папины маленькие открытия в поэзии Гаврилы Романовича Державина и Николая Макаровича Олейникова признаны специалистами, в книгах есть ссылки на них).

То есть люди старались, выбивались из сил, спасая от вихрей истории себя и своих детей, желали им лучшую долю – и сбылось, понимаете? Сбылось. Во мне сбылось – я уж точно живу лучше всех своих прабабушек и бабушек. Так что всегда с благодарностью их поминаю.

Да, надо признать, что молодцами проявили себя женщины – реестр рода полон убитыми, исчезнувшими и покинувшими семью мужчинами. Сгинул куда-то товарищ министра, пропал Михаил, первый муж бабушки Антонины, и повесился её брат Шурка, игрок и пьянчужка, убит на войне Евгений Москвин, увлёкся фронтовой подругой и не вернулся в семью Идель Мовшиевич, ставший затем от большого ума Адольфом Михайловичем, загремел в тюрьму Юра, брат мамы...

Но женщины вытянули цепь рождений, сохранили и преумножили плоть жизни. Думаю, это и есть то главное, что они мне завещали.

(Имущества никто не накопил – не тот подвернулся век!)

Я по складу характера всё-таки отщепенец и отшельник, отвергающий шумные, второсортные и оттого всегда торжествующие признаки времени. Но я приварена к толще, туше,

месиву и массиву этой жизни могучим и фатальным паяльником, засунута поваром в эту круто сваренную, не быстро вкусную и пересоленную кашу. Поэтому я всегда могу заговорить по-простому с любым, так сказать, родственным комком этой каши.

Я давала клятву юных пионеров Советского Союза. Пела "Варшавянку" в школьном хоре. С надеждой вглядывалась в мягкое непроницаемое лицо Горбачёва, стоявшего у гроба откинувшего копыта Черненко. Кричала "Мы вместе!" яростному Косте Кинчеву на рок-фестивалях. Получала талоны на еду в 1990 году. Засунула в какую-то мошенническую жопу свой ваучер...

Я притёрлась и к новой жизни, освоила компьютер, оказалась способной к постоянной работе и всегда держу ухо востро – слушаю кипение своей каши...

Итак, вернёмся к истокам: так или иначе, пути вели в страшный город Ленинград. Папа приехал из Новокузнецка учиться, почему-то выбрав именно Ленинград (говорил, что полюбил заочно, собирал открытки с видами). По моим наблюдениям, провинциалы, выбирающие Питер, а не Москву, – все сплошь мечтатели... Ну, а мама его уже тут поджидала, на Семнадцатой линии – оба пошли в популярный тогда Военно-механический и из-за выгодной и престижной, как думалось тогда, профессии инженера, и из-за нажористой стипендии (мама с бабушкой бедствовали). Кстати сказать, оба родителя закончили отдельные школы (до 1955,

кажется, года мальчики и девочки учились отдельно – благодаря чему поддерживался исключительный взаимный интерес полов).

Дом № 70 по Семнадцатой линии, построенный, очевидно, в самом начале века, назывался в народе "поповским" – видимо, раньше в нём обитали священнослужители из близлежащих церквей. Он выходит фасадом на линию, а боком – на Камскую улицу, идущую вдоль реки Смоленки и ведущую к Смоленскому кладбищу. За Смоленкой – ещё два кладбища, Немецкое и Армянское. (Эти места поэтически показаны в картине Алексея Балабанова "Брат", по ним катит трамвай, ведомый вагоновожатой в исполнении колоритной актрисы Светланы Письмиченко.)

Трамвай по Семнадцатой линии ходил ещё в девяностые годы и был уничтожен только в правление Валентины Матвиенко (2003–2011), этого "успешного губернатора", которому успешно удалось разве что извести ленинградский трамвай – прекрасный, экологически чистый вид транспорта.

Трамвай ходит по центру Рима и Цюриха, вольготно чувствует себя в Праге – но в обновлённом Петербурге ему вышел кирдык. Милое животное трамвай... Сколько отъезжено по маршруту № 11 в детский сад в Советском переулке ("переулочек-переул" отходит от Первой Красноармейской, где как раз стоит мамин-папин Военмех, и ведёт к гастроному "Стрела"). Но не будем плакать: ведь отберут, в сущно-

сти, всё, так или иначе – отберут, и здоровье, если было здоровье, и ум, если был ум, и красоту, если была красота, да что там – и жизнь отберут вместе с трамваем и прочей травматической памятью, но вот жалко, жалко, жалко!

Мы жили в большой (но не патологически) коммунальной квартире, на втором этаже, окна с эркером на улицу – напротив, через дорогу, располагался странный холм, обнесённый решёткой, надо думать – бомбоубежище. Окно кухни, где был чёрный ход, выходило во двор, где росла драгоценная липа. В квартире обитало пять съёмщиков, в их числе традиционная безымянная старушка – любительница кладбища, мастерица бумажные цветы, милиционер Толя, плодоносная хозяйка Света и чета Захаржевских, явных бывших бар.

Звали их: жену – Агнесса Захаржевская, мужа – Борис Петрович, он любил вырезать по дереву.

Над Агнессой, крупнолицей, носатой, всегда в завивке, посмеивались (барские замашки!), но посмеивались про себя или между собой – понимали, что вообще-то она другого поля ягода. Я заходила к ним на правах дитяти малого и помню, что в их комнате стоял особенный запах – тяжёлый, но не противный, вроде как духи с примесью будто бы ладана. Бабушка утверждала, что Агнесса вообще никогда и нигде не работала (вот она, главная черта барства?), её содержал Борис Петрович, но чем занимался Борис Петрович, кроме художественной обработки корней и других деревяшек, не

знаю. Один его подарок, корень в виде змейки, долго жил у меня.

Скандалов не припомню, жили в 29-й мирно, всегда одалживали соль или луковицу, приглашали друг друга на праздники выпить за стол, "очередь" блюли неукоснительно. "Очередь" означала уборку по очереди мест общего пользования – по неделе за каждого жильца. Трое человек живут – три недели убираешь длинный коридор, кухню, ванную и клозет, один живёшь – неделю убираешь. А у себя как хочешь, хоть год не прибирайся. Агнесса Захаржевская так и поступала, и бабушка всегда ворчала, что де "у барыни бардак, и не готовит ничего, бухнет пельменей, каждый день, Борис Петрович, кроме пельменей, ничего не видит".

Наверное, бабушке нравился Борис Петрович. Уж она бы его накормила! Но после исчезновения Иделя Мовшиевича замуж бабушка больше не вышла, Иделя же Мовшиевича за предательство не простила и честила в подпитии крепко. Со своим обычным античным красноречием, обогащённым нотой бытового антисемитизма.

Но без мата. Мата в доме не было никогда. "Великий русский" я познала только в актёрско-режиссёрской среде Театрального института.

Какие-то мужчины у бабушки всё-таки были – женщина видная. Помню, как мама что-то такое ей выговаривала, дескать, а ты не помнишь, как набросилась на меня из-за своего любовника, что я с ним была, как сумасшедшая, не пом-

нишь!

Действительно, бабушка всюду подозревала грязь и обман, такое у неё было зрение, видимо, ещё и обострённое службой в госбезопасности, где чуют измены и козни следовало по должности...

В ванной в те годы стояла деревянная колонка, в каждой комнате – печка, дрова же хранили во дворе. Жили довольно чисто – а бабушка вообще была неистовая чистюля. У неё даже половые тряпки были аккуратно подшиты. Атмосфера склоки и скандала жила не в квартире – она зарождалась каждый день внутри нашей большой комнаты с мирным мещанским растением фикус возле чисто вымытого окна.

Может ли молодая семья жить с родителями? Да, наверное, может, живали же по двадцать человек в избе. Но мы жили не с какими-то абстрактными "родителями", а с озлобленной, несчастной, сильной и жестокой пожилой женщиной опасного пятидесятилетнего возраста. Её энергия и артистизм (бабушка была одарена как актриса и потрясающе изображала своих знакомых в лично сочинённых миниатюрах, достойных Райкина) били через край – но били в нас.

Наверное, она просыпалась по ночам, когда мои молодые родители неловко пытались познать друг друга, и с ненавистью вслушивалась в недоступные уже звуки.

Моё рождение на время сплотило семью – беспокойный больной ребёнок не спал ни днём, ни ночью. Я, правда, ненадолго затихала, когда папа брал меня на руки и пел для меня

сочинённую "Колыбельную Татьяны".

В наш большой красивый дом
Серый волк придёт с мешком.
Кто не будет крепко спать,
Тех он будет забирать.
Тех он будет забирать
И в утильсырьё сдавать.
Ходит-бродит серый волк,
Всё зубами щёлк да щёлк.
Ты, волчище, не ходи
И на Таню не гляди.
Наша Таня не шумит,
Наша Таня крепко спит.
Мы поэтому её
Не сдадим в утильсырьё!

В те годы ещё были пункты сдачи "утильсырья" – костей, тряпок и прочего. Но вот что такое талант? Это не в последнюю очередь пронизательность. Папа проник в мою суть – что я отчаянно боюсь отправиться на свалку, в утильсырьё как неудачная, ненужная вещь. И что чувствую какого-то "серого волка" рядом, то есть грозную опасность в случае неэффективного, неправильного поведения попасть в число начисто ликвидированных.

Но ведь это отсылает нас к образу Пуговичника в финале "Пера Гюнта" Ибсена! Пуговичник именно что хочет отправить героя, как неудачного и ненужного, в "утильсырьё" –

в переплавку, в переделку, в общий котел. Герой не сформировал, не прирастил драгоценную материю, пошедшую на изготовление его души, поэтому в сохранении индивидуальности ему отказано. А сама материя души ценна как сырьё, поэтому изымается и направляется в котёл. . .

Пера Гюнта спасла песня любящей Сольвейг, а меня спасла любовь родных. Пер Гюнт был сам виноват, что просвистал, как олух, свою жизнь, а я, полтора килограмма жалкой плоти, ещё ни в чём не была виновата. Так что в переплавку или утильсырьё я не пошла и в три года уже околачивалась возле липы во дворе – тогда ребёнка можно было спокойно отправить гулять, изредка за ним приглядывая. Ни машин, ни маньяков. Да и дети тогда были тихие и разумные.

Говорю так потому, что, бывая нынче в разных странах, с горечью замечаю, какие у нас беспокойные и капризные дети. Нигде, никто так не кричит, как новые русские мальчики и девочки! Они буквально изводят родителей требовательным властным воем. Детям моего поколения такое в голову не приходило – да родители бы и не подумали бросаться исполнять наши желания, только бы маленький говнюк заткнулся. С моей бабушкой, как вы понимаете, такой номер бы никак не прошёл.

Меня рано отдали в ясли-сад в Советском переулке, и там я жила неплохо. Там даже завелась у меня летучая симпатия к одному мальчику, но другой мальчик вломил мне, играючи, деревянным кубиком по голове, и я решила как-то подза-

таиться со своими симпатиями к этим противоречивым существам...

Милая воспитательница называла нас "киса-рыба-лапа". "Ну, киса-рыба-лапа, давай на горшок". Вот только запах пригара, горелого молока, терзал до тошноты. Напротив детского сада тоже располагался обширный холм, ограждённый решёткой, – опять бомбоубежище!

Семнадцатая линия Васильевского острова (дом) и район Красноармейских улиц (детский сад, затем и школа) – тихие, благополучные районы. Вот уже сдвинешься от Красноармейских к Обводному каналу, к Варшавскому и Балтийскому вокзалам – начинается грязнота и тревожность, всё чаще мелькают пьяные лица, в воздухе пахнет обманом, кислым пивом, пылью и перегаром. Но от дома до сада ехали мы с мамой торжественным ходом трамвая по центру города и словно возвышались, оказывались вне всякой житейской грязи, переезжали мост лейтенанта Шмидта, и я зачарованно глядела на белый теплоход "Фёдор Гладков".

Фёдор Гладков! Советский писатель, автор романа "Бруски"? Или "Барсуки"? Кто ж теперь помнит! Ах, как ужасна участь плохих писателей. Да нет, Гладков написал роман "Цемент", а "Барсуков" создал Фёдор Панфёров... Впрочем, дослужился же Гладков до теплохода – и вошёл в мою детскую память, так что эдаким сложным путем Фёдор Гладков краешком вышел из песков забвения.

И семья моя, и город Ленинград были тогда в моём серд-

це погружены в сияние любви без всякой примеси разъедающего скепсиса.

А как было не любить весёлых, вечно оживлённых молодых родителей, которые щедро делились со мной всем, что знали. Папу нельзя было назвать красавцем – марийская кровь сказалась в лепке лица с раскосыми глазами и крупным ртом, – но он был головокружительно обаятелен, потрясающе воспринимал и запоминал Слово, был чертовски остроумен.

Помню, как в девяностых годах он, уходя от моих гостей, просунул в дверь сияющую от удовольствия собственным остроумием милую рожицу, оглядел публику за столом и торжественно провозгласил: "Я ухажу по-английски, не прощаясь!!!"

По поводу какого-нибудь пустого человека, от которого вдруг вышла маленькая польза, Владимир Евгеньевич философски замечал: "С паршивой овцы – хоть фэйф-о-клок!"

А его отношение к родной стране рельефно выражено в стихотворении-песне "Страна наоборот".

Если ехать целый год,
А потом лететь,
То страну наоборот
Можно поглядеть.
В удивительной стране
Чёрт-те что творят:
Здесь работают во сне,

На работе спят!
Ах она – страна чудес,
Всё совсем не так —
Миллион идёт под пресс,
Чтобы дать пятак.
Начиняют пироги
Птичьим языком,
Покупают сапоги —
Ходят босиком.
Бьют коленкою под зад,
Говорят – привет!
Указатели стоят,
А дороги нет.
Кто не сеет и не жнёт,
Сладко ест и спит,
Хорошо смеётся тот,
Кто всегда молчит...

В шестидесятые папа сочинял много детских песен и стихов, и главные его победы на этом поприще посвящены мне – первой и единственной дочери. История про героического маленького ёжика – "Маленький ёжик, четверо ножек, что-то медленно идёт, на спине листок несёт...", которая включена была потом в рекомендации для детских садов как "народная". "В лесу стоит маленький дом, а в нём живёт старенький гном" – за эту песню папа получил какой-то приз на конкурсе песен и очень тогда им гордился. Я выросла под звон гитары, в атмосфере возможного преобразования жизни

– искусством.

Но то были миги, мгновения, радостные всплески – а су- ровый мещанский быт брал своё.

Папе надо было уходить из инженеров в профессиональ- ный театр, но у него семья, ребёнок, теща, а главное – боль- шая ранимость, зависимость от чужого мнения, неуверен- ность в себе при высоких и справедливых творческих при- тязаниях. Переучиваться, добиваться, отстаивать себя? Нет уж, лучше по друзьям с гитарой, в оранжерее привычных восторгов, получать необходимую дозу любви...

Мама в те годы была обворожительно женственна, но не по кошачьему типу. У неё, прежде всего, имелась хорошая голова с удивительной памятью и способностями и к искус- ству, и к постижению невероятного – скажем "ТМ и ДМ, тео- рии механизмов и деталей машин". Коротконожка (а длин- ных нечеловеческих ног тогда у девушек и не было!), неболь- шого роста, чуть полноватая, улыбчивая, с тёмными курча- выми волосами и большими серо-голубыми глазами, мама воплощала чёткую и звонкую советскую девушку, которая "умрёт, но не даст поцелуя без любви". Вот как если бы Эли- забет Тейлор сыграла молодогвардейку Любу Шевцову. У неё был (и остался, сейчас маме за семьдесят) звонкий голос с прекрасной дикцией, которую ей поставили у Мгебровых.

Был такой странствующий актёр Александр Авельевич Мгебров, автор двухтомника мемуаров и исполнитель роли патриарха в "Иване Грозном" Эйзенштейна. Колорита неме-

реного личность. Он с женой Викторией вёл драмкружок, который посещала мама, и, конечно, чета Мгебровых врезалась ей в память как образец таинственных "бывших людей". Жена Мгеброва на занятия являлась всегда в шляпе с птицей или в причудливом боа – этим людям позволительно было недоедать, но непозволительно было прийти на занятия "просто так", без страусинового пера, уносящего прочь от обыденности.

Тогда в Ленинграде ещё водились "бывшие люди", в основном люди искусства – многих "по спискам" эвакуировали из блокады, иногда целыми коллективами.

Я помню, как это возмущало мою школьную подругу, рассудительную Свету Калашникову. Вот, писателей вывезли, актёров вывезли, а что рабочие? Им помирать, да? Родители Светы были рабочие.

Диковинные остатки артистического Петербурга, в своих вуалетках и перьях дотлевавшие среди старых афиш и сочинявшие свои медлительные мемуары, определенно влияли и на новые времена – к примеру, Мгебровы навечно поставили голос и дикцию моей маме, так что и теперь я узнаю её голос в тысячной толпе, да что там – я даже услышу, что именно она мне кричит.

Мама до сих пор ненавидит актёров с плохой дикцией и певцов, у которых не разобрать текст. Она вообще, бедняжка, всю жизнь любила прекрасную ясность – но что делать, если жизнь преподносила ей одни запутки.

Я любила родителей, однако свирепая бабушка была основой жизни, возилась со мной маленькой она! Так что их вечные перебранки я воспринимала с острой болью. Дошло до того, что мы с родителями сняли комнату и собрались уехать.

И вот помню, как мама толкает меня в сторону огромного буфета, которым бабушка отгородилась от враждебной стороны, заведя там какой-то укреплённый лагерь с диваном в центре. "Иди, попрощайся с бабушкой..." – говорит мама, и растерянная девочка с "барашками", всхлипывая, падает в негодующие объятия Антонины Михайловны. "Ещё придут и в ножки поклонятся! Пригодится воды напиться!" – восклицает бабушка.

Конечно, придём. Куда меня летом-то девать, спрашивается? Но "поповский" дом на Семнадцатой линии я покидаю как постоянный житель навсегда.

Глава третья

Станция Каннельярви

Помню такую песню на стихи Вероники Тушновой (а может, Риммы Казаковой?): "Сто часов счастья! Чистейшего, без обмана. Сто часов счастья – ну разве этого мало?"

Нет, у меня гораздо больше выходит. Я, бывало, по целым месяцам испытывала самое настоящее счастье, восторг, радость, блаженство, полное приятие жизни. Пожалуй, в каждом буднем дне, кроме самых чёрных (смерть близких, разбитое сердце), набиралось до получаса счастливых минут.

Но жизнь на станции Каннельярви по три месяца в течение пятнадцати лет – это чистое, огромное, беспримесное, упоительное счастье моё.

Я была странная, мечтательная, грустная девочка, погружённая в себя, с четырёх лет сидевшая за книгами (подруги корили маму – Кира, что у тебя за ребёнок, идём мимо её садика, все дети играют, а она сидит с толстенной книгой). У меня не было никаких шансов прижиться в коллективе – поэтому жизнь с бабушкой в лесу явилась абсолютным спасением. С тех пор я никогда и ничего не боюсь в лесу, могу там ходить одна сколь угодно долго – это же мой отец-лес, лес-батюшка, лес-кормилец.

Что такое станция Каннельярви?

А станция Каннельярви – это вот что. Как известно, после бездарной позорной войны 1939/1940 года, которую затеял нехороший товарищ Сталин, тиран и деспот, к СССР отошли финские земли крупным куском вплоть до Выборга. Станция Каннельярви располагалась по железнодорожной ветке Ленинград – Выборг примерно на 76-м километре. После войны финские территории стали постепенно заселять, но, надо сказать, поначалу не слишком удачно. Не блестяще шли дела у поселенцев. Глухо толковали о финском проклятии, о заклинаниях финских колдунов...

Много лет спустя я узнала, что финны, покидая свои земли, увезли все могилы – и действительно, ни одного финского кладбища я никогда не видела, только фундаменты бывлых усадеб.

Уважаю!

Мы застали всего несколько хуторов, где жили угрюмые пьяницы, сдававшие жильцам маленькие постройки типа сараев с целью дальнейшего пианства. Бабушка называла эти постройки "курятниками". В редкие минуты трезвости опойцы оказывались добродушными рукастыми мужиками, в затяжных запоях – белоглазыми страшилищами, рубившими топором крапиву с воплем "Фашисты! Фашисты!".

Живали мы сначала "У Степановых" – то была грустная семья пьяницы Володьки Степанова, его жены и дочери, немногим старше меня. Жена Степанова работала на переезде товарной железной дороги, по которой возили песок и

щебень, и, когда мы ходили в боры вдоль шоссе на Семиозерье, мы обязательно заходили в крошечный сказочный белый домик, казавшийся мне идеалом уюта и покоя (на той дороге поезда ходили редко).

Сказочный палисадник, всё с теми же георгинами и ноготками, маленькое хозяйство внутри, всё чисто и уютно – бедная жена была чистюля и работница. Ушла она от Степанова, когда дочке было лет семь, оставила дом и огород, разрешив нам подъедать то, что на грядках. Пьяный Степанов зверел, бил её и дочь. Помню, как она умоляла не давать ему денег вперёд, в счёт оплаты за дачу, он вечно стрелял трёшки и пятёрки.

Когда Володька Степанов продал свои курятники некоему "директору" (не то магазина, не то базы), мы, уже прикипев к Каннельярви, перекантовались пару лет в куроводческом совхозе "Победа" (5 км от станции), а затем сняли "курятник" уже побольше – "У Голубевых". Хозяйствовали мы в избушках, неравномерно разделённых на большую и меньшую часть, но обе части с печками – мы всегда в меньшей части. В бóльшей жили наши вечные соседи и друзья, семья Изотовых.

У Изотовых (крепкая советская семья – отец шофёр, всегда на что-то копили) имелась девочка Вера, на три года старше меня, лучшая моя подруга тех лет.

Карельский перешеек – это лес и озёра. Здесь нет русского пейзажа с рекой и бескрайними полями, неважно дело об-

стоит и с берёзами. Русский пейзаж я обрела много лет спустя, когда мама и отчим купили избушку в Псковской области, в деревне Пищивицы. Но моё детство – это лес и лесные озёра, так что и счастье для меня – лес и лесные озёра. Этого ничего уж не изменишь. Кроме того, это тоже Россия. Ведь добрый дедушка Ленин подарил Финляндии независимость только в 1917 году.

В начале шестидесятых лес был богат, дик, волен, изобилует зверьем. Лоси попадались чуть не на каждом шагу и даже подходили вплотную к нашим избушкам по ночам, терлись рогастыми головами – чесались, а им сопутствовали свирепые лосиные вши, так что голову, идучи в лес, следовало заматывать глухо платком. Комары летали армиями валькирий, от них слабо помогал одеколон "Гвоздика" – спасала скорее особая дачная стойкость к укусам, многолетняя привычка отбиваться веткой, а вообще – терпеть. Видели мы зайцев, удирающих от нас по узким полянкам, мама один раз повстречалась с волком, а бабушка – с медведем, в малиннике. Рассказывали о рыси, крупной хищной кошке с кисточками на ушах, что подстерегает добычу, сидя высоко в ветвях деревьев, и мы побаивались неведомой рыси, но никогда, правда, её не видали. Рысь осталась летней легендой.

Немногочисленные дачники вместе с местными, тоже редкими, жителями не могли собрать и сотой доли ягод и грибов, произрастающих в окрестностях. Так что жизнь в Каннельярви – это была могучая и плодотворная работа собира-

тельства.

Мы с бабушкой кормили семью! Нашу беспечную семью, где родители и думать не думали о житейской прозе. "Зимой всё съестся!" – приговаривала бабушка, распорядясь урожаем. Мы работали, как крепостные, да что там – лучше крепостных, потому что на себя. Мы посмеивались над родителями, навещавшими нас не каждые выходные, как над легкомысленными барами. Они не думали о зиме! О той самой зиме, когда всё съестся. И всё съедалось взаправду, несмотря на поразительное, просто промышленное количество наших с бабушкой заготовок.

Июнь стоял пустой, только грядки надо было поливать – огород располагался за домом, несколько грядок с редиской, огурцами, луком, картошкой, морковкой и горохом. Огород я поливала коричневой водой "из ямы" – лесного пруда, который, видимо, образовался из воронки снаряда. Такие воронки нам часто попадались в лесу. А благородная вода для питья и пищи черпалась из колодца в километре ходьбы, так что по два раза в день пожалуйста с ведром за водичкой. Раз в день – на станцию к Марьиванне за молоком, брали три литра парного, тёплого. Кружку пила сразу, кружку в обед, а из остатков бабушка делала блины, сметану и творог. Был у нас в июне обязательный загадочный поход "за люпинами" – эти цветы устилали один финский фундамент километрах в трёх от нас, они постепенно расплодились, море люпинов на отвоёванных и разрушенных финских хуторах, мы их рвали

огромными букетами, расставляли дома в банках. Жизнь в люпинах. Своеобразное торжество завоевателей...

Был у нас в заводе маленький палисадник, где много лет бабушка высаживала одни и те же цветы – космею (это разноцветная ромашка), ноготки (календула), флоксы, астры и несколько гладиолусов. Гладиолусы, расцветавшие позже всех, непременно шли мне в первосентябрьский букет, с которым все учащиеся обязательно заявлялись в школу. Не у всех были свои цветы, многим приходилось покупать – а мы вот экономили и на этой статье. Никаких новаций ни по какой части бабушка не признавала, посаженные цветы давали семена, их бабушка раскладывала по мешочкам и неумолимо сажала на следующий год, так что космея, ноготки, астры, флоксы и гладиолусы навеки застряли в сознании как подлинные садовые цветы. Законность прочих была у меня под сомнением – разве что тигровые лилии и георгины "золотые шары", которые сажала бабуля Веры Изотовой, тоже имели право на прописку в цветоводческом реестре.

В конце июня начинала поспевать земляника, но её было маловато, только на зуб. Были, были предания о каких-то таинственных земляничных полянах где-то "возле полигонов" (полигоны с танковыми частями располагались далеко, но всё-таки иной раз мы к их пределам выходили). И будто бы бабушка Зоя (двоюродная сестра Антонины Михайловны, дивный персонаж, ещё расскажу), забредшая туда по своей дурости, наткнулась на земляничную поляну, где зем-

ляника, ягода крошечная, была – и бабушка отмеряла фантастическую длину в полпальца – "как клубника"!

Такого не видела. Основной промысловой ягодой у нас являлась черника, сизая служанка-госпожа северных лесов. Она поспевала в начале июля, и всё – лоботрясный отдых заканчивался.

Черника! Встаём утром, до девяти, чтоб не угодить в зной. Чёрные резиновые сапоги (от змей – те реально были и грелись по обочинам лесных дорог, гадюки), тренировочные штаны, куртка, вылинявшая и выгоревшая так, как ни один дизайнер не добьётся. У бабушки – корзинка, куда помещается четыре литра черники, у меня кружка на двести грамм. Изотовы тоже с нами – вместе веселей. Я должна собрать три кружки, и только после этого мне разрешается есть чернику. А скрыть поедание невозможно – черника окрашивает рот с десяти ягод. Идем или в бор, или в болото, черника на бору быстрее поспевает, зато в болоте она крупнее. И болтаем с Веркой обо всём на нашем маленьком чудесном свете.

Черника закатывается в собственном соку (зимой из неё варят кисель) или варится с сахаром, и сверху, чтоб не засахарилось варенье, бабушка льёт слой парафина. Закатываем мы много, больше двадцати литров, кисель существует всю пресловутую зиму, густой, сладкий, дивный кисель. Ещё из закатанной черники можно делать начинку пирога...

Потом созревает малина, потом боры покрываются брусникой – но эти ягоды собирать куда легче, малина растёт вы-

соко, не надо наклоняться, брусника берётся всей гроздью, быстро, споро. Правда, её потом приходится тщательно перебирать – ведь в ход идут только спелые, тщательно отобранные ягоды. А вместе с брусникой начинается священное – грибы...

Переборка черники – тягомотное дело, но ничего не попишешь – надо. Бабушка сдувает из горсти листочки, внимательно разглядывает и кроет тех коварных сборщиков, что дерут нежную ягоду страшной "машинкой". Машинка представляет собой деревянный короб, спереди утыканный гвоздями. Орудующие машинкой сдирают чернику вместе с листьями, после такого сбора кустики стоят голые.

– Это они на продажу! – восклицает бабушка осуждающе.

Сбор ягод и грибов на продажу она считает преступлением. На продажу ничего хорошего быть не может. У Голубевых, в крошечной старой баньке, живёт "банная" старушка, собирающая на продажу, – так бабушка своими глазами видела, как "она вот такущие сыроежки все червастые напололам – и в ведро! С червями солит, а потом на рынок!"

Действительно, кошмар. Мы-то берём сыроежки молодые, не раскрывшиеся ещё старыми тарелками, не обтрёпаные, улиткой даже не поеденные – "бочечкой", и предпочтительно красные.

Маршрут, а точнее, направление атаки выбирает полководец бабушка. Вечером она определяет: пойдём мы "по Танковой", "на Школьную", "к борам на Семиозерье" или "на

семьдесят девятый". Всё это грибные места – леса вдоль Школьной или Танковой дороги (полигон недалеко, но ни одного танка не видела), по бокам шоссе к посёлку Семиозерье или прекрасный чистый бор на семьдесят девятом километре железнодорожных путей на Выборг. Но на семьдесят девятый есть смысл идти только за боровиками, тогда как, скажем, на Школьной водятся в вереске красные. Везде своя специфика, и мы давно её постигли.

За грибами мы ходим каждый день рано утром, кроме воскресенья – в выходной налетают "туристы" и всякие другие пришлые, бегут дуrom в лес, ничего не видят, давят грибы ногами, поэтому по воскресеньям мы идём после полудня. Как ни в чём не бывало. И собираем то, что скрывалось от "туристов", будучи предназначенным именно для нас с бабушкой.

– Наши грибы нас ждут, – твёрдо говорит Антонина Михайловна и берёт на сгиб руки круглую прутяную корзинку, которую всегда наполняет отменными грибами, даже и в воскресенье. Она с наслаждением рассказывает, как пошли мы в лес, а навстречу – сплошь пьяные мужики. – И дно не прикрыто! Папоротника постлал, кабытто у него там грибы! А мы пошукали-пошукали и тридцать два белых нащёлкали...

Вечером, после грибного штурма, мы с бабушкой долго не можем уснуть и ведём особенные разговоры.

– Тань, спишь?

– Нет...

– А вот если бы тебе сказали сейчас, что на семьдесят девятом стоят сто белых – ты бы пошла?

Бабушка имеет в виду фантастическую картину – белые не надо искать, они в полном составе выстроились на особой поляне и "нас ждут".

– Пошла.

– Сейчас, ночью?

– Пошла бы!!

Бабушка удовлетворённо молчит.

– Тань, спишь?

– Не сплю я.

– А если бы тебе сказали, что на семьдесят девятом – пятьдесят белых, пошла бы?

– Да.

– Ночью – пошла?

– Я бы побежала!

Бабушка удовлетворённо хмыкает. По отношению к грибам нет взрослых и детей – тут все дети, и на лицах удачников сияет одна и та же горделивая радость: "Я нашёл!".

На первый свой белый гриб я напала, ещё не умея ходить. Бабушка на прогулке увидела на краю лесной тропинки что-то заманчивое, посадила меня на пенёк, отправилась проверить, что там такое. И услышала за спиной крик – "Бабука, бабука! Никак, никак!". Оказалось – я доползла до маленького толстого гриба и пытаюсь выпростать его из почвы детскими ручонками...

Да, охотничий счёт положен только белым грибам и красным. О них мы с Веркой кричим в лесу: "Нашла! Два белых!" – и бежим смотреть находки друг друга. Бабушка – темнит (что вы хотите – госбезопасность!), никогда не кричит. Только когда, проаукавшись, мы встречаемся для краткого временного смотра достижений, она покажет, что нашла, или вздохнёт – нет, боры сегодня пустые... вот бы дождика... Ими, белыми и красными, украшается верх корзины, о них с усталой и скромной улыбкой говорится соседям и встречным (у грибников принято спрашивать про трофеи). Остальные грибы – бесщётны.

Среди бесщётных есть чудесные грибы, ничуть не уступающие красным и белым, – скажем, черноголовики. Это род подберёзовиков, растущих на болотах, с толстой ножкой и чёрной шляпочкой. Черноголовик синее на срезе, как и подосиновик. Он и красив, и вкусен, но его всё ж таки никто не считает. Он идёт в множество, дескать, что набрали? Девятнадцать белых, десять красных и всякое там, черноголовики, маслята, козлята.

Маслята, растущие большими семействами, – приятные создания, в молодости под шляпкой они покрыты белой плёнкой, скрывающей нежно-жёлтый плюш низка. Они считаются прекрасными промысловыми грибами. Их отлично можно и сушить и мариновать. В маринаде они беленькие, привлекательные, их часто вылавливают вилкой в застолье. Но маслёнок – это будни грибника. В удачную минуту их

нарезают корзинами. Их трудно чистить, потому что белая плёнка липка, пачкает руки и они тут же чернеют.

Тогда как белый и красный – это праздник грибника. Это мгновенное узнавание (сто раз принимал листок или щепку за боровик, но когда он въявь осуществляется перед тобой во всей красе и гордости – его не спутаешь ни с чем!) и точный укол счастья.

Белые и красные выкладывались на верх корзины, чтоб их было видно любопытствующим, но чуть-чуть прикрывались листьями папоротника – не знаю, кто первый завёл такой "грибничный дизайн", однако мы его соблюдали неукоснительно и перед окончательным выходом из леса прилежно формировали корзину "напоказ".

Белый или красный чистить – одна радость, потому как что его чистить? Срезал низ корня, убедился, что гриб чист от червя ("Как перламутовый!" – любила приговаривать бабушка), или с печалью увидел мелкие дырочки, проеденные гадами, и всё.

Правда, те, кто брал грибы "на продажу", имели свои негодяйские секреты – существовала легенда, что червивый белый следует положить в солёную воду, отчего черви его покидают, бросаются зачем-то в эту воду и всплывают мертвяками, а гриб совершенно очищается от губительных постояльцев и пригоден в пищу.

Не знаю, не пробовала!

Сбор мы сортировали на четыре кучки: сушка, солка, ма-

ринад и немедленно съесть.

Придирчивей всего бабушка выбирала грибы на маринад. Для него годились только калиброванные (шляпка не больше пяти сантиметров в диаметре) маленькие благородные грибы, то есть трубчатые, не пластинчатые. Гриб можно было, конечно, и рассечь надвое для маринада, но тогда он должен был быть безупречен во всех отношениях – чистый, твёрдый, высшего благородства (боровик или лесной красный, отличный от борового красного ярко-оранжевым колером шляпки и прямо-таки фаллической толщиной корня).

На сушку шли опять-таки благородные, но покрупнее. Сушили мы на печке, наколов грибы на вязальные спицы и положив их на кирпичики. Или иногда подвешивали к печке на нитках – шёл грибной дух, какой шёл дух!

На солку отправлялись "соляшки" – волнушки, гладыши, сыроежки, свинушки. Горькушки и черные грузди перед засолкой бабушка вымачивала, отбивая горечь, они в хорошую пору росли полянами, но мы ими не пренебрегали – неказистые с виду, эти мещане грибного царства обладали потрясающими вкусовыми качествами.

Кажется, только у русских водится это благоговейное обожание грибов, страсть к грибам. Другое дело, что компетентных грибников, разбирающихся в этом деле, не больно-то и много. Массы варваров топчут, злобно уничтожают неизвестные им грибные существа. Книгу Солоухина "Третья охота" (благодаря ей он сумел избежать песков забвения)

читали в 60–70-х годах, а потом подзабыли. В легкомысленные мещанские головы волнами вливался компромат. Вдруг какой-нибудь гриб объявлялся подозрительным – верили!

"По мнению учёных..." Дальше можно клепать что угодно. Фамилий и фактов никто не спрашивает.

Так, в какой-то газете появилась заметка "Коварный гриб", посвящённая свинушке. Этот грибной "солженицын" (в таком же стиле и с похожими названиями писали и об авторе "ГУЛАГа") был обвинён в накапливании радиации и свинца, и даже вкусовые качества подвергнуты сомнению. Что ж, подействовало, Изотовы перестали брать свинушку совсем, мы иногда брали, но чуть-чуть.

Потом, предавшись внимательному изучению грибов летом 1981 года (беременная Севой), я открыла множество пригодных в пищу, превосходных грибов среди тех, кого мы обходили или – увы! – пинали ногами. Среди них – "колпак кольчатый, лесной шампиньон", съедобный гриб первой категории. Его я позже реабилитировала в специальной статье "Трагедия колпака" (сборник "Энциклопедия русской жизни").

И я рада, что вступилась – за гриб, несправедливо пинаемый. Распространила мысль о "прирождённых правах" значительно дальше обыкновенного ареала...

На еду шли хорошие грибы, бабушка не скупилась – клала белые в суп, а для "солянки" прекрасно годились подберёзовики и подосиновики. Солянкой именовались тушеные с

маслом, луком и картошкой грибы, в которые за пять минут до финала добавлялась заболтка из яйца, сметаны и муки. Бабушка прекрасно готовила грибы, профессионально их собирала, но никогда не ела. Видимо, сказались последствия страшной истории с мнимыми "шампильонами".

Одно лето по соседству с нами жили бабка Зоя (бывшая красотка, которую бабушка твёрдо именовала "афериской"), её муж дед Андрей и внучка Лена. Деда Андрея угораздило принести из лесу корзину бледных поганок, которые он принял за "шампильоны". Взрослые крепко выпили и закусили, после чего чуть не отдали Богу душу – но слава Богу, детям они этих "шампильонов" не давали. Видимо, из-за этого бабушку от грибов как от продукта употребления отвело начисто...

Бабушкина солянка из свежих грибов, густая от заболтки, с мяклыми кусочками подберёзовиков – наверное, лучшее, что я ела в жизни.

Ах, боже мой, как я ела на станции Каннельярви!

Мне есть с чем сравнивать – бывали мы и в Риме с Парижами, сживали в дорогих московских ресторанах, на берегах Средиземных и прочих морей искали себе утробных радостей. Да и сама я умею кашеварить – однажды в домашних условиях соорудила я провансальский супец буйабес по всем, то есть, правилам, и в семье нахваливали.

Но Каннельярви – это несравненно.

Бабушка, напуганная моей недоношенностью и дистро-

фией (а это пугающее слово возвращало её к памяти о блокаде), откармливала меня специально, как гуся или свинку. Она сама (особенно после операции на прямой кишке) ела мало, но всегда садилась возле меня и смотрела, как я ем. На её лице отражался каждый мой глоток. Она мысленно ела вместе со мной...

Когда я очевидно пошла в рост и вес, бабушка с удовольствием говорила, оглядывая мои бока:

– Экий лось вымахал!

Готовила она божественно, и это при том, что в Каннельярви никакого мяса не было – в пристанционном магазине продавались хлеб и соевые батончики, дешёвые приторные конфеты. Мясо или курицу ("куру", как говорили тогда) привозила мама по выходным, яйца можно было купить на станции у хозяйшек, рыбу иной раз продавали мужики, вечно ищущие на бутылку. Но парное молоко, овощи с огородика и ягоды-грибы – этого было вдоволь, и томлёные утренние каши, и черника с молоком, и щавелевый суп (щавель с полей, сами собирали), и блины с пенками от варенья, и грибки во всех видах... что говорить! Для счастья человеку нужны лето и бабушка!

Учтите, не было ни холодильника, ни электроплитки. Продукты бабушка хранила в маленьком подполе, сливочное масло – в холодной воде, сыр обертывала мокрой солёной тряпочкой. Готовила на керосинке, чьи боковые окошечки были прикрыты кусочками слюды, за керосином мы ходили

раз в месяц на станцию, его продавали из цистерны, как квас, и я была заморожена сильным одуряющим запахом...

Парное молоко и свежий керосин – наверное, чемпионы моих детских летних запахов. На третье место я бы поставила одуряющие ароматы нагретого солнцем болота, с его доминирующими нотами багульника и клюквы.

Летняя работа на заготовках сообщила моей фантастической книжной натуре некоторую практичность, которая очень меня выручила в жизни.

Когда пришлось самой вести семью, во мне в полный рост воскресла покойная бабушка, и в доме всегда был запас, всегда был обед, даже с супом, и никто из семейства не посмеет сказать, что в области еды было проявлено небрежение.

Я ещё и потому так нежно вспоминаю станцию Каннельярви, что никогда больше не выпало мне в жизни столь рьяной и любовной заботы обо мне. Так уж сложился узор судьбы.

А как иногда хочется, чтобы кто-то что-то сделал за меня – приготовил обед, переменял постель, снял дачу на лето, купил тёплые носки... но это решительные чудеса, которых неоткуда ждать.

Жизнь определила меня на такую должность, где за меня никто ничего делать не будет, вот и весь разговор.

Мой первый бессознательный импульс – всегда всё сделать самой. Когда мне помогают, я дико и приятно удивляюсь, но в душе тревожусь – как-то это всё... незаконно. Не

было б потом наказания какого!

Насобирали черники, нарвал гриба – есть награда: озеро. Кстати, в Каннельярви ("каннеле" – поющий, "ярви" – озеро, фин.) было множество озёр, посёлок в нескольких километрах от станции назывался Семиозерье, но я считаю, что то самое "поющее озеро" – это моё озеро, где я научилась плавать, озеро, которое мы называли просто Лесным.

Как приезжаешь на станцию, слева лесистый холм без признаков жизни, вроде там ничего и нет. Нетушки: иди по тропинке вверх, и увидишь наше поселение, а дальше тропинка всё так же прямо, без извилин, ведёт через лесной ручей и другую железную дорогу (товарную, по ней возили песок и камень из карьеров) к сопкам, по сопкам через молодой лес (были пожары, засадили молодняком) – к чудному озеру, лежащему в маленькой долине аккуратным синим блюдечком. Чистейшая прохладная вода, песчаное дно и почти безлюдно, разве на выходные туристы с палатками, о, эти шумные, гитарные, топающие по тропинке через наш хутор туристы. Этим словом бабушка ругается, "туристы" сиречь бездельники, выпивохи, неряхи. Турист в природе – лишний и опасный человек, он оставляет мусор, он может не загасить костёр. "Туристами" в злые минуты бабушка припечатывает родителей, когда те на выходных не дают никакой пользы хозяйству. "Приехали как туристы!" Помню, особенно уязвили Антонину Михайловну белые брюки, в которых на дачу однажды заявился папа. На что годен в лесу человек в белых

брюках? Примирило же бабушку с ним искусство отыскивать поляны грибов – лисичек, за что папу в нашем поселении прозвали "королем лисичек". Это уже было хоть что-то!

Кроме материальной части, жизнь в Каннельярви прирастала и культурой, и умственным развитием. Вы бы попробовали при советской власти скрыться от культуры, ха. Это было нереально. Советская власть не могла оставить в покое ни дальние кишлаки и аулы, ни глухие деревни и полустанки. Везде были обязаны учиться, учиться и ещё раз учиться, везде работала система доставки и сования культуры прямо в рот. Поэтому на станции существовала библиотека, а каждый месяц на три дня прибывал "вагон-клуб" – передвижной кинотеатр.

Ты платил десять или двадцать копеек, заходил в вагончик и смотрел себе кино. Помню, я просидела сразу два сеанса – на первом давали индийский фильм "Цветок в пыли", на втором – "Дядю Ваню" Кончаловского. Никакой разницы между фильмами я тогда не ощущала, для меня всё кино было одинаковым чудом. Однажды я так волновалась за героев, что сгрызла подол своего нарядного шёлкового платица и вышла вся в крупных дырках спереди.

В дождь мы играли в карты – бабушка и мы с Веркой. В дурака – подкидного, переводного и круглого, в девятку и кинга. Вместо денег фигурировали, как правило, спички, предмет вообще на даче важный – из спичек мы строили игрушечные дома и колодцы... Турнир же на двоих с бабушкой в

подкидного длился всё лето, и результаты к августу достигали былинных размеров – скажем, 123 бабушкиных выигрыша супротив 95 моих. Бабушка всегда по итогам летнего турнира выигрывала, потому что жульничала, да, жульничала!

Но в грозу мы не играли – грозы я боялась панически, до потери сознания. Гроза на глухом хуторе, без громоотводов – дело серьёзное. Сразу отключали электричество, бабушка затаскивала в дом все ведра и тазы (притягивают молнию), я забиралась под одеяло с головой. О проделках молний, особенно шаровых, говорили много страшного – одна такая залетела в дом Марьиванны, у которой мы брали молоко, ушла в розетку под окном, был палёный след. Говорили, когда влетает шаровая, надо не шевелиться, замереть совсем. Говорили, никогда нельзя вставать в грозу под одинокое дерево среди поля – это я выучила крепко и при первых звуках грозы, если она заставала меня в открытом пространстве, простодушно падала плашмя и лежала, как кающийся грешник, до конца Его Гнева.

Спали мы с бабушкой не на кроватях, а на матрасах, набитых сеном и положенных на козлы (деревянная чурка на ножках, с разлапистыми упорами для пилки дров). Спальных мест было всего два, и родителям, когда и если они к нам заявлялись, приходилось ночевать на сеновале, под крышей наверху. Но это было приятным неудобством – на сене спится блаженно.

В субботу вечером (пока ещё не ввели второй выходной –

а тогда в пятницу) поглядываешь на тропинку – не идут ли родители. Родители – это гостинцы: колбаса, конфеты, печенье, диковинные фрукты вроде какой-нибудь там черешни. Приезжают родители и ко мне, и к Верке, мы уединяемся и через некоторое время торжественно выходим с блюдечками – она несёт угощение мне, а я ей. Это обязательно принято у нас, это церемонная соседская дружба. То, что мой папа инженер, а Веркин – шофёр, никакой роли не играет. Да, мои родители имеют высшее образование, они считаются интеллигентами, и тем не менее мы все по уши погружены в обычную жизнь советского обывателя. Папа и мама усиленно сплетают себе кокон из плодов человеческой культуры, они читали Шекспира, Брехта и Александра Грина, они знают наизусть стихи, а папа и сам умеет сочинять, но сочинить какую-то другую жизнь у них не выйдет. Культура войдёт в клинч с нравами советской мещанской среды, она украсит их жизнь, она даже их отчасти преобразит, но быт и нравы – это дракон почти непобедимый.

Брехт Брехтом, а ссорились при ребёнке, некрасиво, вульгарно, с воплями и оскорблениями, плохо понимали друг друга, плохо уступали. Для меня мещанская среда – это не мелкость житейских целей, безвкусица или крохоборство, а именно грубость нравов, отсутствие полутонов. Я бы хотела отойти от этого как можно дальше, но осознать себя и родовые проклятые пятна своей среды – это ещё не преодоление...

Ребёнок притерт к обыденности, ему трудно выйти за рамки семейного круга, оттого даже ничтожные мелочи могут его серьёзно ранить – взрослые проорутся да и разойдутся по делам, по друзьям, а маленький очевидец ещё долго дрожит от горя и ужаса: любимые люди сейчас так долго и страшно обижали друг друга. Такие перекошенные, нехорошие были у них лица... Это я к тому, что между нами, "интеллигентами", и Изотовыми по части быта и нравов очень уж большой отлички не было...

Веркин отец, Витя Изотов, худощавый красавчик с тремя золотыми зубами, имел в шустрых глазах вольный блеск, не сулящий ничего хорошего его полнобокой женке Наде. У Изотовых прочная семья – двое детей и полусибирский кот Вася, – и шофёр Витя никуда не денется, но он гулёна и бабник прирождённый. Верка вся пошла в обожаемого папашку и лет в четырнадцать тоже стала красивой оторвой. Веркина привлекательность выдержала бы даже сегодняшние суровые стандарты – стройная блондинка с большими глазами и чувственными губами, она обладала к тому же лёгким, весёлым и добродушным нравом. Она первой принесла в мой мирок вести о странных делишках взрослого мира, где откуда-то берутся дети. Я узнала об этом в семь лет.

Надо сказать, Веркины сведения были ошеломляющими, но довольно туманными.

Глава четвёртая

Страхи и глупости

Мне было семь лет, а Верке около десяти, когда она рассказала мне о тайне взрослых. Как выглядят половые органы ("глупости" на детском аргю), мы знали, поскольку в игре "фанты" существовал самый знойный фант – показать друг другу "глупости", а игра была общеполовой, и мальчики, дети окрестных дачников, охотно в ней участвовали. Правда, мальчиков было немного, однако роковой "фант" им всегда почему-то выпадал.

Но для такого фантастического дела, как рождение детей, явно было недостаточно простого соединения общих глупостей. Не знаю, придумала ли это Верка, или миф сотворили до неё и он жил в блаженной перемычке между полным незнанием "того, откуда..." и точным, из опыта, знанием, – но Верка утверждала, что для зачатия ребёнка следует в состоянии соединения глупостей находиться не меньше суток.

Не шевелясь?? Неподвижно??

Да. Иначе ребёнка не получится. Мужчина и женщина делают это обязательно после свадьбы. В этом виде их ни в каком случае нельзя тревожить, а то они могут так и остаться...

Так – остаться??

Да. Защелкнет внутри – и всё. Тогда в больницу к врачам.

Был такой случай...

"Ничего себе пельмешки". Это, кстати, тоже из детского фольклора: слон вывалился в муке, идёт по улице и хохочет – "ничего себе пельмешка!" Мысль о замужестве (даже с капитаном Артуром Греем, приплывшим к тебе на алых парусах) стала как-то удаляться на больших скоростях. Алые паруса алыми парусами, но сутки лежать неподвижно, с мужскими глупостями внутри?

Впрочем, ладно, это ещё не скоро. Может быть, к тому времени, когда я вырасту, дело как-то наладится. Тем более это же надо только для ребёнка, а для любви можно просто целоваться.

Правда, и тут засада – Верка приехала из школьного турпохода и рассказала, что целовалась всю ночь, причём взасос и "с языком".

Язык внутри твоего рта – тоже не многим лучше, чем глупости внутри глупостей. Какая-то, ей-богу, антисанитария.

Но, к моему ужасу, мне пришлось однажды самой объяснить младшей девочке-дачнице (оказалась вреднющая), что к чему – она пристала неотвязно. Сказать словами я не могла – написала на бумажке. На её "да не может быть", "да ты врёшь" пожимала плечами – я тут при чём, интересно!

Полового просвещения в те годы не было никакого, знания передавались изустно, сопровождаемые дикими стихами и похабно-невинными песенками.

Пошла я на речку,
А за мной бандит,
Стала раздеваться,
А он и говорит:
Какие у вас ляжки,
Какие буфера!
Нельзя ли по..аться
Часочек-полтора?
Час проходит, два проходит,
А на третий мать приходит.
– Ах ты сука, ах ты б....!
Ты кому дала.....!

Вот такое безобразие тайком пели друг другу девочки шестидесятых. Это, конечно, сочинил незрелый человек – скажем, явно преувеличены возможности и аппетиты таинственного бандита – "часочек-полтора". Где те бандиты, спрашивается.

В реальности у меня были два столкновения с миром бандитов, которым зачем-то нужны "ляжки и буфера". Мне было лет девять, когда на сеансе стереофильма "Майская ночь", шедшего в "Стереокино" (это было то самое 3D, которое выдают сегодня за передовую технологию, а тогда считалось скромным фокусом для детей), ко мне подсел неизвестный, принявшийся сбоку гладить мне ногу с каким-то горячим и вонючим текстом. Не помню, что он урчал, я выбежала из зала – и, боюсь, подхватила неприязнь заодно и к стереоэф-

фектам.

В другой раз на меня напал мальчик прямо на лестнице моего дома, по-воровски обшарив моё тельце так быстро, что я даже не успела закричать или позвать на помощь.

Эти травматические происшествия я сложила в тёмный угол головы.

Легенды, сообщённые Веркой, и похабный фольклор не имели никакого отношения к моему собственному телу, которое никак не возбуждали мысли о бандитах. В нём рано завелись странности. То ли из леса набежали древние силы, то ли бабушкин прокорм был чрезмерен, но с семи-восьми лет на меня стало "накатывать" – внезапно, без повода из внешнего мира. Точно грозовая туча, разряжавшаяся молниями. Я и не пыталась понять, что это такое, и спросить было не у кого, просто примирилась, что иногда будто теряю сознание и превращаюсь во что-то. Никто меня не трогал, и я сама ничего не предпринимала, оно завелось само – постыдное блаженство неизвестно откуда берущегося эроса. Об этом никто меня не предупреждал, даже всезнающая и всемогущая Верка ничего такого не рассказывала. Ладно бы ночью перед сном, с кем не бывает, но оно могло накатить и в школе, и в троллейбусе, и в кино, без всякой связи с реальностью! Наверное, в самом деле какое-то самопроявление природы – думаю я сейчас, а тогда я ничего не думала, просто скрывала и таила непонятное, боялась быть вдруг разоблачённой (без всякой вины).

Страх вообщем было вволю. С окончания войны прошло не так много времени, чтоб в Ленинграде забылась блокада. В шестидесятые по детскому фольклору всю гуляли анекдоты про "дистрофиков", предельно истощённых людей. Дистрофики вставляли пальцы в розетку, улетали в окна от малейшего чиха и говорили мухам: "Кыш! Кыш, проклятая птица! всю грудь мне истоптала!" Мама и дядя Юра маленькими прожили в блокаде зиму 41-го года, потом их с бабушкиной мамой, Татьяной Ивановной, эвакуировали в Пятигорск, а Пятигорск заняли немцы. Чернявую, кудрявую полувейрейку – мою маму – добрые люди держали в подполе, спасали от расстрела. Антонина Михайловна, получив отпуск, сразу рванула в освобождённый Пятигорск за детьми, почти месяц добираясь на перекладных, военными поездами, нашла, повезла домой, и тут – "Попковский вызов недействителен!" – трагически шептала бабушка, рассказывая всё это мне.

Попков – секретарь Ленинградского обкома, человек, спасший город от эпидемий: он организовал очистку Ленинграда от трупов. Эвакуированные могли вернуться в город по вызову, им подписанному, но к тому времени его, разумеется, объявили врагом народа, и его "вызовы" сделались недействительны. Сколько ужаса и горя это принесло людям!

Но бабушка напрягла связи и детей вернула. Её рассказы о голоде и бомбах сильно врезались в сознание – вот, оказывается, чем может обернуться жизнь... Ведь жили до войны

сыто, спокойно, как мы сейчас. Правда, бабушка утверждала, что мы ничего хорошего в принципе знать не можем, потому что всё хорошее было "до войны" – настоящие вещи, вкусные продукты.

Много лет спустя я встретила подобную жалобу в записках Юрия Олеши – он утверждал, что у фруктов "до войны", особенно у слив, был абсолютно другой, "настоящий" вкус. Что это – аберрация личного восприятия или непостижимая действительность? Как исследовать мир вкуса, это ведь так индивидуально. И если деградировало, то что именно – продукт или его ощущение?

До войны у бабушки родился от Иделя Мовшиевича (категорически восстававшего против аборта) ещё один сын, Славик. Когда ему было восемь месяцев, он на даче в Шапках случайно разжевал попавшую в рот муху и умер от дизентерии. Я вообще-то думаю, что это не такой уж плохой был выход для Славика, который давно ангел (а откуда, по вашему, берутся ангелы-дети?), потому что впереди ему ничего не светило, он умер летом 1939 года. Он бы не выжил в блокаду, ясно. Да если бы и выжил... Но бабушка думала иначе и возлагала на своего сказочного уже Славика какие-то существенные надежды. Она время от времени проговаривалась, что вот, Славика было бы столько-то лет и он наверняка...

Он наверняка – что?

Хотя бы в тюрьму не попал, как старший сын Юра. Это

была тёмная сторона жизни семьи, тут все отмалчивались. Почему Юра так долго сидел? Такое впечатление, что больше двадцати лет. Мама кричала иной раз бабушке: "Это ты его посадила!"

Что-то всплывало: Юра воровал, сначала по мелочи, потом стал тащить из дома, и бабушка заявила в милицию. Он попал в тюрьму, и зона его затянула – выходил ненадолго и снова попадал, кроме того, там ещё была серьёзная драка и попытка побега (неудачная, как вся дядь-Юрина жизнь).

Посадили ли его в первый раз по бабушкиному заявлению? Или он был взят на заметку, поставлен на учёт, а попался в другой раз? Всё-таки правоохранительные органы не очень-то любят сажать по заявлениям родственников, если это чистая уголовка, а не политика. Если политика, так за милую душу... Во всяком случае, эта язва горела на бабушкином сердце постоянно. Она собирала Юре посылки, плакала по ночам, писала корявые письма – и вот не знаю, ездила ли на свидания. В конце пятидесятых он ненадолго вышел и успел заделать сына Андрея простодушной, некрасивой деревенской женщине Клаве. Я их видела, они гостили у нас, бедолаги. А самого Юру увидела, кажется, в 1972 году, когда он наконец вышел и вскоре умер от туберкулёза. Чтобы его содержать, бабушка продала бронзовые подсвечники. Маленький, застенчивый, беззубый, деликатный человек – что за судьба...

Война, тюрьма, голод, болезни – эти страшные псы бабуш-

киных рассказов обступали мою жизнь, ощерив злобные пасти. Они рычали где-то близко, рядом. Я постоянно делала какие-то белкины запасы на случай повтора блокады и завела в лесу ещё один огородик – мало ли. С едой вообще были связаны несчастья – бабушкина мама, тихая труженица Татьяна Ивановна, умерла до моего рождения от рака пищевода – пища не могла проходить в желудок, она скончалась от голода, мучительная смерть.

Да, ещё и смерть! В лицо я её не видела. Рассказывали, что хозяйского пса, овчаркоподобного Рекса-пустолайку (мы его подкармливали, Степанов пса держал на голодном пайке), мужики, которых он тяпнул за ногу, сожгли в паровозной топке. Дети надеялись, это легенда, зачем нужно такое тупое злодейство. Но смерть бродила где-то рядом – конец, прекращение всего, тьма. Я часто, думая о смерти, прижималась к горячей батарее в ванной комнате, так выходило как-то полегче. Кошмаров прибавилось, когда в школе (в самых ранних классах!) нам стали в красках расписывать вероятную атомную войну.

Со всеми прелестями. С тенями на стенах в Хиросиме, с демонстрацией атомного гриба, с точными данными о том, сколько будет умерщвлено в случае чего, как долго продлится заражение, что такое лучевая болезнь, как выглядит ядерная зима... Сволочи, что ж они делали. Атомный гриб снился мне всё детство.

Несколько умерила мои страхи школьная подруга Света

Калашникова, пожав плечами однажды: "А чего бояться? Современная война будет длиться от пяти до семи минут".

Так думали дети шестидесятых.

Сила впечатлительности подпортила мне детство, само по себе довольно спокойное. Я-то не голодала, не теряла близких, ничем смертельно опасным не болела! Но я волновалась о вещах, меня прямо не касавшихся, так, как будто они меня прямо касались, были моими. Если эрос самозародился во мне без моих инициатив, то могло самозародиться с той же мощью и переживание ужасов бытия. Видимо, при всём развитии, я ещё не отделилась от общего тела жизни, чувствовала общую боль, общие страхи. Я волновалась как капля моря – вместе с морем.

На детских фото – серьёзная, даже угрюмая девочка с большим лбом, русой косой и хмурым взглядом исподлобья.

Смотрит так, как будто говорит – ну да, сейчас-то ещё можно жить, а что будет завтра?

Нельзя сказать, чтоб я тревожилась напрасно.

Глава пятая

Проспект Космонавтов

Когда состоялось историческое покидание бабушки, мне было пять лет, и некоторое время мы с родителями прожили на съёмных квартирах. Хорошо помню только одну, на Крюковом канале, в низкорослом доме с разъярёнными маскаронами по фасаду – бородатые морды, гневно разинувшие пасть. Подобный ужас внушала мне только статуя Сатурна, пожирающего своих детей в Летнем саду, жутче этого сомлевшего ребёночка, которого безумный старец тянет к своему раззявившемуся в сумасшедшей гримасе рту, я ничего не видела.

(Мне говорили про Сатурна – "это аллегория Времени"! Слабое утешение...)

Родители работали и все свободные минуты посвящали своей Дrame – самодеятельному театру, который стремительно, под папиным влиянием, развивался и обрастал настоящим успехом. Из него могла бы вырасти со временем ленинградская Таганка, но в Ленинграде Таганки не растут.

В городе не было сильной фронды, не было детей дипломатов и министров, тянувшихся к запретному, да и в принципе не было "золотой молодёжи" в московском понимании, не было посольств могучих враждебных держав, не было

"Нового мира" и прочих очагов вольнодумства. Ленинград, понеся чудовищные потери в блокаду, опустился, съёжился, притих, сжался действительно до областного центра. Из него уехали великие деятельные люди – скажем, Уланова, Шостакович, Чуковский, Маршак. Ленинград не дал ни одного барда, сравнимого с Окуджавой, Высоцким или Галичем. Ни одного поэта, чей грохот равнялся бы с евтушенковско-вознесенским (глухая ленинградская слава Бродского – принципиально другого сорта). Ленинградская "глушилка" пригнетала, притушивала славу любого таланта, пусть бы и мировой величины. Видный местный писатель в центральных списках всегда значился "одарённым ленинградцем" и шёл в пристёжке к прославленным перечислениям.

Может, и потому, что уж слишком своеобразен был ленинградский опыт, ленинградские ритмы жизни? Чтобы здесь пробиться и встать в полный рост, прогреметь на всю страну, следовало быть уже не талантом, а каким-то сказочным великаном, вдобавок одарённым некоторой гибкостью в диалоге с властью, – так вышло у режиссёра Товстоногова и композитора Петрова.

А просто талантам тут – вечная маета и вечная опасность бесславия.

Папин спектакль, весёлый, насмешливый, острый, лёгкий, очень молодой – по пьесе Осьмнадцатого века, сочинение баснописца Ивана Крылова, "Труmf, или Подщипа", – имел бешеный успех, его собирались транслировать по ленинград-

скому ТВ (тогда всё было только в прямом эфире). Даже в программке телевизионной пропечатали. Но – раздумали: сомнительно! Какой-то царь-дурак, совет у него собирается из дураков, намёки, аллюзии... Прямо как из анекдота начала века – человек кричит на улице: "Дурак! Дурак!", и городской тут же ведёт его в участок. Помилуйте, за что? – Знаем мы, кто у нас дурак!

"Трумфа, или Подщипу" я видела – отличный был спектакль, а маму, игравшую главную роль царевны Подщипы, в русом парике с длинной косой, в голубом сарафане, с большими накрашенными глазами, я даже не узнала, точнее, узнала, но не могла поверить: как все по-настоящему талантливые люди, она дико хорошела на сцене...

Ну а по квартирам мы кочевали недолго – вмешалась запасливая бабушка Елена Сергеевна из далёкого Рустави (там она с мужем Константином, папиным отчимом, работала на химкомбинате), дала денег на первый взнос в кооператив.

Когда я говорю о действительных преимуществах социализма перед джунглями, учтите: я родилась через пять лет после смерти Сталина и не видела ужасов сталинизма. Я застала советское общество уже значительно очеловеченным, смягчённым, смирившимся перед явной невозможностью построения коммунизма в отдельно взятой стране.

Хрущёвский, а точнее, "косыгинский" социализм был самым настоящим, самым реальным социализмом, в отличие от сталинской драконовской империи. Именно тогда стали

раздавать шесть соток в садоводствах и строить доступное и дешёвое жильё при минимуме заработной платы в семьдесят рублей. Мы, никто и ничто, семья молодых инженеров, и года не прождали, как в мир явилась наша пятиэтажка на проспекте Космонавтов – рассчитанная на двадцать пять лет эксплуатации (гарантированный срок пригодности железобетона), она стоит себе до сих пор.

Проспект Космонавтов, дом 52, корпус 3, пятый этаж, квартира 78. Здесь прожито больше десяти лет, здесь к чему-то прицепилась моя бедная душа и до сих пор во сне навевывается в эти убогие места...

"Таков человек – к чему ни на есть, да прилепится сердцем", – написала я через двадцать лет в повести "Чужая жизнь", посвящённой бездомным кошкам. Повесть я потеряла, не могу найти, а слова эти помню – они правильные. И сердцем прилепляться – тоже правильно, тем более какое-то жалкое очарование эти "новостроечки, новостроечки" всё-таки источали.

Когда мы поселились на проспекте Космонавтов, то был решительный "загород". В ручье, на пустыре за проспектом, водились ондатры! Охотничья собака соседа, бодрая Альма, поймала несколько штук. Пятиэтажки утопали в зелени – особенно через несколько лет, когда подросли яблони и сирень, посаженные по неумолимому социалистическому плану. Всё было в шаговой доступности – химчистка и галантерея в ста метрах, так же булочная и молочные продукты.

Большой продовольственный магазин с кулинарией – в квартале от дома, возле него пивной ларёк. Через пару лет построили типовой кинотеатр "Планета" и большой дом напротив продмага, с канцелярскими товарами и библиотекой!

И всё быстро, всё в срок. По плану.

В том-то и загвоздка, что в тогдашней нашей жизни вещи разумные и благотворные сочетались с идиотскими и противоестественными в какой-то чёртов коктейль сложных пропорций – впрочем, как и сейчас. Только, безусловно, воровства и казнокрадства в нынешних масштабах быть не могло.

Была патологическая лживость. Ведь за каждой тошнотной статьёй в газете "Правда" стояла какая-то часто вовсе не гнилая, а здоровая действительность – люди неплохо работали, строили, читали, писали, играли, пели, и даже на этих их съездах принимались иной раз более-менее разумные решения.

Но когда перед тобою воздвигается тусклоглазый мертвяк в каменном костюме и чеканит голосом Командора: "Высшая цель партии – благо народа!", ты понимаешь, что тебя имеют и притом не объясняют, за что и как долго это будет продолжаться.

Кремлёвские деды ничего не могли объяснить толком, нормальным человеческим языком! Ничего! Даже принимая осмысленные и разумные решения.

Много лет спустя я с изумлением поняла, что афганская война абсолютно не была бессмысленной и преступной. Что

была политическая необходимость защитить свои границы от серьёзной опасности. Что иметь под боком страну, возглавляемую религиозными фанатиками и не производящую ничего, кроме наркотиков, ни одно вменяемое руководство не может.

Но это – национальные интересы, а такого термина в заводе не было. И вот деда изобретают какой-то шизофренический "интернациональный долг" (кому? куда? зачем?). Окутывают всё мерзким туманом – нет-нет, никто не гибнет, все шито-крыто. Но ведь рот матерям не заткнуть, а это их сыновья гибнут, значит, так, потихонечку, кривя губы, будем всё-таки признавать, что – воюем? Что – воевали? Что, скажем, война во Вьетнаме была в том числе и войной русских с американцами и мы вообще-то её выиграли?

Говорю так с печалью, потому что именно в годы моего детства у страны был шанс отказаться от Догмы и начать жить в контакте с реальностью. Но догматизм, отчаянная верность мёртвой Букве – хроническая русская болезнь.

Откуда она берётся? Не с неба упала, поверьте.

Натура русских мужчин не знает меры. Сами знаете – им литр не выпивка, сто километров – не скорость, миллион – не деньги. На эту натуру нужна узда из законов и запретов. Налагающие узду (из религии или идеологии) чувствуют норов своего коня. Но тоже не знают меры! Коню надо пить, жрать, скакать – а они всё вяжут снасти, всё стреножат и наваливают ношу, а воли не дают.

Так он вообще скинет узду вместе с седоками да унесётся в любимое чисто поле. Тем более к восьмидесятым годам все уздечки давно сгнили...

Вернёмся на проспект Космонавтов – в двухкомнатную квартиру с изолированными комнатами (14+8,5) и кухней, где я как барыня поселилась в собственном закуту 8,5 метра. (По-моему, это до сих пор идеальный для меня размер пространства. Это, на самом деле, размер хорошей просторной кельи – видимо, я по сути человек монастыря, а не дворца.) Мебель – самая необходимая и самая простая, из магазинов: раскладной диван у родителей, стол, шкаф, у меня узкая кровать, полки для книг и секретер с откидной крышкой, на ней пишу, делаю уроки. Всё типовое, обычное. Стол – чтобы есть, стулья – чтоб сидеть. Мы ничего и никогда не "доставали", по знакомству, по благу, с чёрного хода, шёпотом называя фамилию, с переплатой. Когда телевизоры стали доступны – купили телевизор. Помню нашу боевую раскладушку, обтянутую холстом цвета хаки, – самую дешёвую... Я несколько не горжусь этим – чем тут гордиться, а пишу, как было. В квартире на Космонавтов я прожила несколько райских лет – без ругани родителей с бабушкой, в мире и согласии простой интеллигентной вообще-то семьи.

По утрам родители пили кофе – ещё один разнотык с бабушкой. Она, как допетровский боярин, никакого кофе в рот не брала! Но всякое движение в сторону Европы, видимо, сопровождается в России запахом кофейного дурмана. Ко-

фе мама покупала небольшими порциями (запасов в доме особенно не держали – о, молодость!), и он всегда не вовремя заканчивался. Итак, кофе, яичница, бутерброд с колбасой. Колбасу помню трёх сортов – докторская, любительская (вкрапления сала микрокружочками) и лучшая из возможных, но и самая дорогая – телячья. Дальше папа шёл на работу, он работал в каком-то "п/я", "почтовом ящике", то есть в закрытой секретной организации, молотящей что-то на оборону страны, а мы с мамой тоже отправлялись на трудовое поприще – мама в научную лабораторию Военмеха, я в школу № 275 "с преподаванием ряда предметов на французском языке".

Но уже из школы до дому я ехала бесконечным троллейбусом – одна. Рассеянная ужасно, я постоянно теряла ключи, и мама в отчаянии повесила ключ мне на шею, на капроновой ленточке.

Ключ был длинный, тяжёлый. Так я и жила, точно корова с колокольчиком, – с ключом на шее.

Вроде бы после этого терять было нечего. Как бы не так! Я тут же потеряла портфель. Когда я приезжала в троллейбусе на свою остановку, то меня властно тянуло погулять за ней – там было что-то немного похожее на поля, холмы, перелески, правда, всё засранное. Высились кучи гравия и щебня, где попадался увесистыми кусками полевой шпат – заманчивые кристаллы мутно-зелёного или голубого цвета. Туда тянуло!

А портфель тяжёлый, плотненько набитый – предметы

для труда, для рисования, физкультурный костюм. Ну, я его и оставляла возле остановки – дай, думаю, поброжу, никто не возьмёт портфель младшего школьника, на фиг он нужен.

И однажды начисто забыла про него – заявила домой без портфеля. Но его мне принесли и отдали, притом долго разыскивая владельца через школу. О, совестливые советчане.

Вот так, с семи лет одна через весь город, с ключом на шее. А с девяти – вообще шлялась по городу дотемна. Никаких происшествий у девочки Тани до полного полового созревания не случилось, только два раза были неприятные столкновения – но как раз в замкнутом пространстве, а не на воле (о них я рассказала в главе "Страхи и глупости").

Да, детям можно было жить в Стране Советов, теперь это факт непреложный. Нам бы только намекнули, куда мы живём, вот чего хотелось бы. А то пришлось перестраивать поезд изнутри на полном ходу – дикое занятие. Но кто мог намекнуть? Кремлёвские деды сами-то ничего не знали, цеплялись за хвост отлетающего дракона...

Весь наш район назывался (он и сейчас так называется) Купчино, по имени бывшей деревни или села. Как потом выяснилось, там выросли многие будущие звёзды рок-н-ролла и литературы – Гребенщиков, Цой, Панов ("Ау"), Крусанов. Крусанов вообще жил в двух шагах. Наш квартал представлял собою приблизительный квадрат, ограниченный проспектом Космонавтов и параллельно шедшей железнодорож-

ной линией Ленинград – Павловск – Вырица, а с боков – проспектом Славы и улицей Орджоникидзе. По Орджоникидзе шёл громадный пустырь, заросший бурьяном, – там мы выгуливали потом нашу собаку Джульку, а со станции "Прспект Славы" я вскоре стала ездить в школу, это было удобно, всего двенадцать минут до Витебского вокзала, потом на трамвае или троллейбусе. Но это уже лет с десяти.

Так и повелось с тех пор – и на четверть века, – что жила я в одном месте (новостроечки, новостроечки), а училась и работала в другом (центр, только центр). В бетонном коробке своём отсыпалась, а с утра влеклась туда, где сияли красоты архитектуры и прочей культуры. В результате движения весь город как бы помещался во мне, весь, старый и новый, петровско-екатерининский, сталинско-хрущёвский, и с розарием на Исаакиевской площади, и с собачьими какашками на купчинском пустыре за остановкой троллейбуса, где порскали неизвестные птицы, неизвестно на что рассчитывали ондатры и даже росла малина, а под редкими кривыми берёзками некоторое время выползали подосиновики. Потом затоптали грибницу, заломали малину...

Зимой мы с родителями катались на лыжах и коньках – меня даже отдали в школу фигурного катания, где я продержалась с полгода, поскольку моя "ласточка" неумолимо напоминала подбитую ворону, о чём мне беззлобно сообщал тренер. Алкоголь в семье не водился, и только однажды папа пришёл с каких-то посиделок на работе в странном виде –

присел в коридорчике на корточках и что-то мычал. Мама ласково сказала, что папа устал, и увела его в комнату, это был единственный случай! Говорю об этом с грустью, потому что вскоре мне пришлось увидеть и разделить совсем другой образ жизни взрослых.

(Бабушка – та, конечно, попивала, но всегда тайком от меня, так что только сверхобычная говорливость и красные пятна на щеках её малость выдавали. Но она скрывалась всегда, прятала бутылочку – и я считаю это здоровой чертой. Не надо вываливать на детей свои пороки!)

Удерживала меня на проспекте Космонавтов, кроме убежища в 8,5 метра, мощная рука искусства – кинотеатр "Планета". С десяти до тринадцати лет я пересмотрела в нем, наверное, все советские фильмы, снятые в те годы. Эта доступность прекрасного совершенно снимала всякое ощущение бедности – впрочем, как бы скромно я ни жила, этого ощущения и не было, не знаю, отчего так.

Мама, привлекательная женщина, работала в мужском коллективе, но никогда не наряжалась. Два платья, костюмчик, демисезонное пальто, зимнее пальто – и всё. Не было привычки к тряпкам, и модниц мама презрительно именовала "тряпичницами". Почти не было и украшений. Красилась мама утром, при мне, и я отчётливо помню – голубыми тенями подмажет веки, чёрным карандашом проведёт твёрдую черту с мнимой раскосинкой, чуть тронет тушью ресницы (длинные, загнутые от природы). Потом неяркая помада, и

всё – пошла! Она была так задорна и моложава, а мужчины в её области (механика) водились так густо, что не было нужды в искусственной красавости, в нарочитом выпячивании прелестей. А я не знала косметики лет до семнадцати.

Что ты летаешь, моя птица, над чахлыми кустами старых уже новостроечек, приговаривая "а здесь химчистка была, а тут нашлась кошка Симка", что ты здесь оставила, глупая? Ну, голуби ворковали в вентиляциях, ну, дорожка на станцию, ну, сдавала стеклотару, чтоб купить билет на "Мою прекрасную леди", ну и что? Пустяки, право, пустяки...

Позже, лет в двадцать, я сочинила такое:

Я житель новостроек,
Хамовитый и беспамятный,
Но у меня
Заветное припрятано до поры.
Произрастаю возле помоек,
Шагаю, порожней посудой звеня —
На-кось, выкури меня из норы!
Да не ступит чужая нога на мои богоданные метры,
Да не взглянет недрёманный глаз на мои припасённые
литры,
Я не ваш
Я ушёл.
Я вот наемся спинки минтая от пуза
Чаю с сахаром тихо напьюсь и пойду искать музыку.
Бездомные кошки укажут дорогу мне,
И в тишине

Один я один я на тысячи тысяч
Расслышу две бедные ноты —
Всё, что смогла, дорогая, ты высечь
Из этой жизни за долгие годы работы.

Всё ж таки какой-то внутренний опыт жизни "птицы-души" в этих строчках есть, потому и привожу их здесь – долгие годы я сочиняла не для печати, а из потребности сформулировать прожитое, что, как вы понимаете, сразу выводит меня из славного и ничуть не презренного мною племени графоманов... или нет?

Глава шестая

Парле франсе!

Между тем школа, в которую я пошла в шесть лет, была "языковая", "с преподаванием ряда предметов на французском языке". Так значилось на фасаде, и, ей-богу, не знаю, что означало. Никаких предметов на французском языке нам не преподавали, а просто со второго класса шел французский язык, а потом и французская литература. Мама сама учила в школе французский и была рада, что под боком, у работы, нашлась такая школа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.